



Инна МЕЛЬНИЦКАЯ.
«Украинский эшелон». Книга II.

Дорогие читатели!

В десятом номере «Радуги» за 2005 год вышла первая книга дилогии «Украинский эшелон». На подходе была вторая — но тут, торопясь и толкаясь, запросились на выход другие, новые повести и рассказы и много-много стихов. А это, знаете, такой народ: не уступишь — обидятся, поблбеднеют и уйдут — может, навсегда.

Так и получилось, что книга вторая, которая сейчас перед вами, выходит только теперь, когда первая, наверное, уже подзабылась. Поэтому вкратце напомню, что было сначала.

Ранней весной 1943 года от станции Лиски отошел странный эшелон, увозивший на восток скомканные в спешке отступления человеческие судьбы. Тут были и преступники, предатели, служившие врагу, и совершенно случайные люди, которых замели по ошибке или по навету и с кото-

рыми некогда было разбираться — разные лица, разные характеры... Среди них оказалась и семнадцатилетняя девочка Тася.

Тасю сдал в особый отдел домогавшийся ее бравый комбат за то, что она, защищаясь, дала ему пощечину. Не зная за что, без суда и следствия, под конвоем, Тася прошла по этапу до самого Дона — а там эшеленом до Казани. В Казани — пересыльная тюрьма; затем — на барже вверх по Каме до грозного чистопольского СИЗО.

Следственная группа, занимавшаяся эшеленом, в первую очередь разбиралась с делами, где были конкретные обвинения — с полициярами, дезертирами, мародерами; а что было делать с такими, как Тася?

Долгие месяцы Тасю не вызывали на допрос, и в конце концов у девочки не хватило мужества дольше терпеть. Нет, она не объявила голодовки: она просто отвернулась к стене и перестала есть, ожидая, когда перестанет жить. И если бы

не военврач, получивший после тяжелого ранения назначение в санчасть СИЗО, на этом можно было бы поставить точку. Он перевел ее в лазарет и настоял на том, чтобы следствие наконец занялось ее делом. Но главная беда заключалась в том, что дела-то по сути никакого не было — а ни за что у нас не сажают!

И тут готовность помочь следствию проявила староста камеры: она сообщила, что Тася в личной беседе якобы рассказывала ей, что после смерти отца «вступила в сожительство с немецким офицером, который склонил ее к поступлению в шпионскую школу в городе Богодухове».

Вроде бы появилось основание для конкретного обвинения — стало быть, можно его разрабатывать. Но медицинское освидетельствование опровергло эту версию, и Тася, просидев полгода, была «освобождена из-под стражи ввиду отсутствия состава преступления» и направлена в кормхоз «Победа» — подсобное хозяйство СИЗО — до получения разрешения вернуться домой, на Украину.

О том, что было дальше, читайте на следующих страницах.

Инна Мельницкая

От редакции. В серии «Библиотека «Журнала «Радуга» в этом году издана первая книга дилогии «Украинский эшелон», за которую Инна Мельницкая удостоена Международной литературной премии имени Юрия Долгорукого.

Заявки на приобретение книги присылайте по адресу: 01030, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 51А, редакция журнала «Радуга».

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ



Инна МЕЛЬНИЦКАЯ

УКРАИНСКИЙ ЭШЕЛОН

Книга II

КОРМХОЗ «ПОБЕДА»

Вот такой это населенный пункт — кормхоз «Победа». Первый домик от чистопольской дороги — контора. Вообще-то в кормхозе три настоящих домика. Остальное — бараки и всяческие хозяйственные строения: коровник, конный двор, молочная ферма, кузница, баня, тракторный парк, гараж и складские помещения.

Во всем кормхозе только два дерева — две рябины у крыльца Дуси Новичковой, у которой муж до войны был милиционером, да еще что-то непонятное — то ли тощий куст, то ли корявое деревце возле дома, где живет директор.

У конторы высокое крыльцо. На этом крыльце зимой прошлого года, говорят, волки задрали кормхозного козла. И с этого самого крыльца в теплый сентябрьский вечер, слегка ошалелые от крутого поворота судьбы, сошли заведующая детясями Евгения Михайловна Самохвалова и воспитательница Анастасия Владимировна Гарднер.

Наверное, все-таки у Таши замедленная реакция. Плохо она приспосабливается к окружающей среде — вернее, не к среде, а к своему положению в ней.

Вот Евгения Михайловна — та, как только директор пригласил их садиться, сразу же непринужденно попросила разрешения закурить, сощурясь, потянулась к зажигалке и уже другим человеком откинулась назад, заложив ногу за ногу. Вообще-то такие ноги едва ли стоило демонстрировать, но зато сама поза



несомненно означала: мы с вами, Александр Сергеевич, безусловно люди высшего сорта, люди избранные, а то, что мы случайно оказались в неравном положении, — это, разумеется, можно и должно исправить.

И Александр Сергеевич понял, улыбнулся — и не предложил ей идти дояркой или учетчицей, оценил по достоинству.

А Тася — ну что ж Тася? Евгения Михайловна беззаботно повела в ее сторону рукой с зажатой папироской и обронила: «А эта — со мной». И сразу все определилось — кто есть кто и на каком уровне.

Некоторая неясность, однако, возникла, когда директор спросил:

— А поселить вас... Вам, наверное, желательно вместе?

Но Евгения Михайловна, рассеянно следя за сизовой струйкой, плывущей к потолку, небрежно ответила:

— Нет, ну зачем же — совсем не обязательно...

Александр Сергеевич поиграл карандашиком и утомленно сказал:

— Ну, что ж, сегодня уже поздновато. На сегодня, я думаю, вас Клава приютит, а девочка в пятом бараке переночует. Согласны?

Секретарша Клава, большая, кудрявая, с круглым пионерским лицом, явилась по вызову, как Сивка-Бурка. Стоя перед хозяином, как лист перед травой, она преданно лепетала, с обожанием глядя в его смуглое, улыбочливое лицо:

— Да, Александр Сергеевич. Конечно, Александр Сергеевич. Хорошо, Александр Сергеевич.

— Значит, договорились, — кивнул он удовлетворенно. — Смотри же, накорми гостью с дороги.

И снова тот же набор:

— Да, Александр Сергеевич. Конечно, Александр Сергеевич... Хорошо, Александр Сергеевич.

— Ну, вот и ладненько. Тогда — до завтра! Завтра уточним детали.

До завтра...

Клавина светелка в том же домике, что и контора, только с другого крыльца. Поднимаясь на ступеньки, Евгения Михайловна напомнила:

— Смотри же, завтра в восемь. Не проспй!

В сенях пятого барака было темно. Тася нащупала дверь и, брякнув щеколдой, ступила за порог. Помещение — не комната — было большое и низкое. Дальняя стенка терялась в темноте. Коптящая лампа с разбитым стеклом цедила мутный красноватый свет и отбрасывала по сторонам горбатые тени сидевших за столом. Вдоль стен тянулись не то лавки, не то нары; три угла были отгорожены занавесками. Никто не шевельнулся, никто не ответил на Тасино робкое приветствие, только какая-то старуха с вывороченными веками пробормотала что-то на непонятном языке — не то в ответ, не то спросонья.

Тася на всякий случай мотнула в ее сторону головой и, не находя иного способа привлечь к себе внимание, спросила:

— Это пятый барак?

— Ну, пятый, — ответил кто-то от стола.

— Мне Александр Сергеевич сказал тут переночевать.

— Ну, сказал — так ночуй.

— А где? — озадаченно спросила Тася.

— А где хочешь. Где хочешь, там и стелись.

Выбирать, насколько Тася могла понять, было не из чего. Поискала на полу местечко поближе к стене, где не так затоптано, и расстелила свое выдавшее виды многострадальное пальтишко.

Люди приходили, топали, переговаривались, переругивались, ели — Тася проваливалась, выныривала, втягивала носом кислые запахи невымытых тел, заношенной одежды, унылой еды и керосиновой копоти, и снова погружалась во что-то, что не было сном и не было явью и меньше всего было похоже на блаженное забытье в первую ночь на свободе.

Среди ночи Тася вдруг проснулась оттого, что на нее внезапно навалилась какая-то горячая, зловонная тяжесть. Кто-то невидимый придавил ее к полу и завозился, шаря руками по одежде. Тася вскрикнула.

— Молчи, дура, — дохнуло на нее перегаром. — Молчи!

Тася с ненавистью отталкивала сопящую тушу, била кулаками по чему-то мерзкому, что должно было быть лицом.

— Ты чо, дура, ты чо, — бессмысленно повторял сиплый голос.

— Во, кобель, опять зенки залил, — сердито прозвучало из темноты. — Ты уймешься али нет? Гляди, Пашка, Сергеичу скажу!

— А я чо? Я ничо, — забормотал Пашка, отваливаясь. — Уж и поиграть нельзя!

Наступая впопыхах на пальто, Тася схватила свой вещмешок и слепо рванулась мимо чешущихся, храпящих, сонно матерящихся — вон из барака!

Острая ночная прохлада зябко проняла сонное тело; после теплой барачной вони нежно и тоненько потянуло сеном, конским навозом и как будто степью. Застегнув у горла наброшенное на плечи пальто, Тася доковыляла до конторы, забралась на Клавино крыльцо, села на ступеньки, привалилась к перилам, и ее обступили мохнатые, незнакомые звезды...

Наутро Евгения Михайловна, свежая как майская роза, выпорхнула на крыльцо и, оправляя русый ежик волос, схваченный бог весть откуда взявшейся голубенькой ленточкой, с неудовольствием отметила Тасин помятый вид: это ужасно, если девочку с самых ранних лет не приучают к опрятности!

Да, согласилась Тася, действительно ужасно.

Если помешались на отшибе, в одном строении с баней. Поодаль, на таком же крутолобом пригорке, одиноко торчала кузница — и сразу за ними начиналось поле. Оно стелилось почти до горизонта, отделенное от неба только темной полоской дальнего леса. Ты и забыла, что бывает такой простор...

Помещение было, наверное, задумано как летнее, потому что, в отличие от рубленой бани, сколочено в одну тесину — но тогда зачем посередине его большая подтопка, рассчитанная на метровые плахи? Хотя, конечно, кто его знает, какое здесь лето — может, и подтапливать приходится? И почему ясли вместе с баней — что за странное сочетание? Или тут поначалу думали сделать предбанник? Тогда зачем три отдельных входа? И крохотный аппендикс — кухня? Сплошные «зачем» и «почему» — но зато стены из светлого, веселого дерева, и столы, два длинных стола, один повыше, другой пониже, и четыре скамеечки — две повыше, две пониже — тоже! Тасе сразу вспомнилась сказка про трех медведей, такая любимая в детстве: «Кто сидел на моем стульчике и

сломал его?..» И кровати, тоже деревянные — некрашеное, живое дерево — с одинаковыми розовыми пузатыми матрасиками, стоящие вдоль стен, и единственная взрослая, р о с л а я мебель — грубый коричневый шкаф, который вместе с подтопкой выгораживает в правом дальнем углу небольшой закуток. А еще, совсем наособицу, прямо против двери: огромный чан для воды — гулкая, как колокол, черная чугунная полусфера.

Дела Евгении Михайловне сдавала бывшая заведующая — уютная маленькая женщина, кругленькая, в круглых очках, с пятнами беглого румянца на нежных, с ямочками, щеках. Она часто и коротко улыбалась, то и дело студила пылающие щеки тыльной стороной ладони и без нужды трогала волнистые пепельные волосы.

Евгения Михайловна, чуть прищурясь и слегка подрагивая тонкими, аристократическими ноздрями, перекачивала папироску из угла в угол твердого рта. Ее предшественница рассеянно перекладывала простынки и наволочки, считала, ошибалась — и снова пересчитывала, не замечая снисходительного высокомерия Евгении Михайловны, а та великодушно кивала головой, тонко подчеркивая свою терпеливость.

Присутствовавшая при церемонии передачи повариха, напротив, неодобрительно поджимала впалые темные губы, и без того утесненные хищным крючковатым носом и острым подбородком, загнутым кверху на манер носка турецкой туфли.

Пока заведующие, новая и бывшая, составляли акты передачи, Тася с любопытством приглядывалась к тем, с кем ей предстояло работать.

Повариха Вера Яковлевна, скрюченная, но юркая, этим своим носом и подбородком, кустистыми бровями и пронзительными темными глазками являла собой некое подобие нестрашной Бабы-яги. Зато нянька Нюра, бело-розовая зеленоглазая мордочка, густо поперченная веснушками, смотрелась этакой слегка незавершенной Снегурочкой. Нарядить бы ее в белый атласный сарафан — или что там они носят, Снегурочки? — надеть на нее кокошник, и хоть сейчас под елку! Только вот еще стереть бы с лица это напряженное стремление угодить, вовремя угадать, что к чему, — и выгадать на этом.

Объявленный с утра аврал (Евгения Михайловна поклялась директору, что ясли завтра же будут снова открыты) бурлил, осторожно обтекая обеих заведующих. У шустрой Нюрки все спорилось в руках. По сравнению с ней неумелая, невыспавшаяся Тася чувствовала себя безнадежно медлительной и неловкой.

Но вот наконец все акты подписаны, все бумаги сложены. Баба-яга вносит и ставит на стол кастрюльку, дымящуюся запахом — боже мой, настоящего домашнего супа! Сколько месяцев — нет, сколько лет уже ты не то что не ела — не нюхала такого чуда!

— Отобедаете с нами? — ласково спрашивает свою предшественницу Евгения Михайловна, деликатно подчеркивая обозначившуюся грань между «мы» и «вы».

И тут сдавшая дела Лидия Сергеевна с застенчивой гордостью выложила свой главный козырь:

— Благодарю вас, я бы с удовольствием, но меня муж дома ждет. Не каждая нынче может этим похвалиться!

Евгения Михайловна как-то странно — как взнузданная лошадка — всхрипнула и сдержанно ответила:

— Ну что ж, как вам будет угодно.

Обед начался несколько натянуто, но Тасе не хотелось вникать в дипломатические тонкости: она вся отдалась общению с супом. Не утоление голода, не дань чревоугодию — боже упаси! — это было именно общение, почти священнодействие: воскрешение тех ощущений, тех тонких волоконцев, из которых сплетается память. Правда, от нее все же не ускользнуло, как лукаво, по-свойски Евгения Михайловна осведомилась у поварахи, из чего был сварен обед — ведь ясли закрыты, и продуктов на этот день не выписывали, — и как лукаво, и тоже по-свойски Вера Яковлевна ответствовала, что, дескать, поскребла по сусекам.

Встав из-за стола, Евгения Михайловна державным взором окинула свои владения и сказала Анастасии, прилично отдаляясь вежливо-официальным переходом на «Вы»:

— Кстати, в маленькой комнате вы, Тася, плохо вымыли. Выскоблите хорошенько — спросите у Ньюры, как это делается. Там будет мой кабинет.

Ну вот — и сразу все ясно: всяк сверчок знай свой шесток! И забудь, Анастасия, ту Евгению Самохвалову, год рождения тысяча девятьсот восьмой, статья пятьдесят восьмая, пункт один «а», которая униженно выпрашивала у вертухая окурок: та осталась позади, и ничего общего твоя заведующая с ней не имеет!

Впрочем, в виде особой милости, Евгения Михайловна разрешила Тасе не идти в пятый барак, а ночевать в яслях за шкафом. При одном условии, правда: Тася должна будет принимать детей, матери которых выходят на работу до открытия яслей, и заниматься с теми, кого будут забирать позже остальных.

Конечно, если бы Тася поселилась в бараке, они с Ньюркой дежурили бы по очереди, но, вспомнив пьяного Пашку и старуху с вывороченными веками, бедняга безропотно согласилась.

И тут же, по тому, как просияла Ньюрка, поняла, что условие не из легких.

А назавтра нахлынули дети.

Ровно полгода — целых шесть месяцев — ты не слыхала детских голосов. При немцах в городе детворы тоже почти не было видно, но ты знала: где-то в домах они все-таки есть — голодные, холодные, дрожащие под грудой тряпья, согреваемые материнским телом, материнским дыханием, — они все-таки были. Эти зябкие, крохотные огоньки теплились где-то рядом.

В тюрьме этого ощущения не было. И рассказы о детях — хвастливые Елизаветы Андреевны, печальные других — все это было из иного мира. Как другая сторона луны. Только пушистые вещички, крохотные варежки и капорочки, которые упорно вязала из распущенных платков и шарфов Зинаида Борисовна, знаменовали истовое служение далеким маленьким божествам.

А тут вдруг словно охапку трав, выкошенных на меже, разом швырнули тебе в лицо: тут и цветы, и колючки, и милые, глупые лопухи! Разные-разные, улыбочивые, хмурые, капризные, послушные — лепечут, ластятся и режут на разных языках.

Вот к этому ни Тася, ни Евгения Михайловна не были готовы. Ну как ты успокоишь ревущего малыша, если он ни слова не понимает из твоего назидательного лепета, а ты бессильна постичь, в чем его беда?

Первым принесли смуглого крепыша Рафика Шарафутдинова. Мать, молоденькая татарочка, сунула его Тасе и убежала, а Рафик тотчас же заревел. Ревел он с таким отчаянием, так самозабвенно, что прямо самой впору было разрешиться. Реденькие, с изломом, бровешки его багрово вздулись, чумазая круглая мордашка вся взмокла, горькие слюны пузырями вскипали на губах:

— Аны, аны-и!..

Подоспевшая Евгения Михайловна вознамерилась было взять крикуна у Таси, но он отпрянул и завопил с удвоенной силой.

— Ну что ты, мальчик? Как тебя зовут? Будь умницей, скажи тете, чего ты хочешь! — в интеллигентном голосе заведующей явственно зазвучали нотки раздражения. — Нюра, да возьмите же наконец ребенка! Я не понимаю, чего он хочет.

Вездесущая Нюрка мигом перехватила буяна:

— Несте кирак, Рафик? Несте кирак?¹

И тут же невозмутимо перевела его горестный вопль:

— Срать он хочет, Евгения Михайловна. Эта зараза никогда ребенка не высадит. Некогда ей!

Водруженный на горшок, Рафик удовлетворенно засопел, а Нюрка кинулась навстречу красивенькой молодой женщине с недобрыми бойкими глазами.

— Кто пришел, гляди-кося, кто пришел, — запела она медово. — Ну, Дуся, я на твоих детей прям' не налюбуюсь! Чистые ангелы, красавчики мои! Иди ко мне, Геночка, иди к своей тете Нюре, мой красавчик! Надо же, до чего дети красивые — все в мать! Иди в кроватку, мой сладкий, гляди, как я тебе подушечку взбила! Вот так, мой хороший, — ни дать ни взять ангелочек!

И правда — трехлетний Генка, пухленький, голубоглазый, весь перевязанный ниточками, в обильных льняных кудряшках, восседающий на взбитой розовой подушке, и впрямь смахивал на упитанных ангелочков с полотен жизне-радостных мастеров эпохи Возрождения. Но тут атмосферу всеобщего умиления внезапно нарушил радостный возглас:

— Теть Нюра, а Генка уделался!

— Ты чо, в самом деле, Анастасия, — находчиво негодует Нюрка, — не видишь, что ли, что ребенок тужится? И куда только глядишь, не понимаю! Ну чего стоишь как истукан? Перемени скорее!

Ах, какая ловкая стервочка!

А ангелочек Генка с бессмысленной улыбкой идиота шлепает ладошками по ползущей из-под него рыжей куче и довольно гудит.

Преодолевая подступающую тошноту, Тася тащит ангелочка мыться; он протестует во весь голос, а сестренка его, яркоглазая, кудрявая Тамарка, гундосит за спиной:

— А я-а скажу маме, что вы его холонной водой моете!..

— Ну что ты, Тамарочка, я теплую налила — попробуй.

— А я скажу, что холонной!..

Наконец Генка обмыт, переодет, и постель его убрана — а детей уже набилось полно: одни плачут, расставаясь с мамами, другие чего-то просят, требуют... Нюрка вертится среди них, как змий, — одного целует, другому отвешивает затрещину, прикрикивая, уговаривая по-татарски, по-мордовски, по-русски... Ох, далеко тебе, Тася, до этой девчонки!

К незнакомой воспитательнице дети почти не обращаются, словно просто не замечают, — и вдруг за ее подол, как за спасение, цепляется большеголовый, крутолобый мальчуган с серыми, навывкате, глазами:

— Тетя, тетя, пать, пать, — тербит он ее.

¹ Чего хочешь? (*татар.*)



— Тетя Нюра, — кричит Тамарка Новичкова, — скорее! Васька Каширский спать хочет!

В чем дело, почему, если Васька Каширский спать хочет, в этом какая-то угрожающая срочность, Тася не успела сообразить: закатив глаза, безумно, слепо блестя белками, он тут же упал и забился в судорогах.

Мелькнуло растерянное лицо Евгении Михайловны; метнулась Нюрка, схватив простынку, с головой накрыла дергающееся тельце.

— Дети, идите, идите, нечего тут! Евгения Михайловна, заберите их! А ты, твою мать, ты чо — черной болезни не видела? Бери его под заднюшку, на постель положим. Он теперь спать будет. Он завсегда чувствует, когда на него находит. Если успеешь уложить — его в постели перебьет, не расшибется.

Бедный мальчик, как он к тебе кинулся! А на вид такой здоровый, крупный...

Два раза в жизни довелось Тасе видеть припадок эпилепсии. Один раз в школе, на уроке истории Саша Александянц, бледный, неулыбчивый, отменно вежливый отличник, вдруг упал у доски и забился в судорогах. Его отнесли в медпункт — и больше он в школу не пришел.

Может, перевелся в другую — где еще не знали, что он болен? Говорили, что потом, уже при немцах, приступы у него участились, стали трепать его по несколько раз в день, и Саша погиб.

А еще однажды, на улице, Тася видела, как шедший впереди молодой парень как-то необыкновенно красиво вскинулся и, рухнув на тротуар, забился, как раненая птица.

Васька проспал до обеда, проснулся вялый, с синими полукружьями под глазами, и все жаловался, что болит головка.

В обед пришла мать, громоздкая, костлявая, как оголодавший першерон. Спросила Нюрку:

— Болел?

Васька доковылял и ткнулся лбом в материнские колени — и с такой нежностью легли на стриженую головенку натруженные руки-грабли!

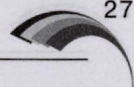
— Дитяtko мое, страдалец ты мой!.. Болел...

Вообще в обед приходят многие матери. Одни — чтобы проверить, досыта ли кормят детей, не жрут ли няньки детские харчи, другие — чтобы ненароком доест, что не доел ребенок.

«Баушка» четко знает, кому нужно подлить черпачок, кому — посетовать, что ребенок плохо ест, а кому наоборот — сообщить, что ребенком прямо не нахвалится: ест — как за себя кидает!

Дочь Веры Яковлевны, тоже Вера, и тоже не по-ленинградски брюнетистая, с пылкими усиками над пухлой верхней губой, то и дело навевалась к матери. Тут же околачивался и Вовка, «баушкин внучок». Оба выныривали из кухни, как хомячки, — с заметно округлившимися щеками, на ходу дожевывая украдкой сунутый лакомый кусочек. Вовке, однако, тайная подкормка впрок не шла: был он мелконький, блеклый и плаксивый, и чуть что бежал жаловаться бабушке.

Дуся Новичкова любила нагряться во время обеда или когда, уложив детей спать, сажались обедать Тася и Нюрка. Заведующей «баушка» собственноручно



подавала в ее кабинет тарелки с «пробой», накрытые салфеткой от дурного глаза. Сама она тоже, как правило, за стол с девчонками не садилась: «Я как воробушек поклюю — много ли мне, старой, надо!» — так что обедали они обычно вдвоем.

Зорким глазом скользнув по тарелкам, Дуся строго вопрошала:

— А у детей что нынче было?

— Да что ты, Дуся, — или нам баушка отдельно готовить будет? Нам чо — от детского поскребышки! Были бы дети сыты, а нам и так ладно, — заверяла ее Нюрка.

И тут с неизбежностью с ближней кровати доносился Тамаркин плакси-вый басок:

— Мать, я гулонная! И Генка гулонный!

Лицо у Дуси каменеет, глаза хищно сужаются, а рот на секунду становится таким, словно она готовится выплюнуть косточку от вишни.

— Поскребышки, значит? А дети голодные спать ложатся?

— Да чо ты, Дуся, — частит Нюрка, — ну вот, святой истинный крест, я Геночке сама добавку давала. Кушает — тьфу-тьфу, чтоб не сглатить, — не хуже взрослого!

— А я гулонная, — упрямо тянет Тамарка.

Нюрка знает, что Тамарке соврать — раз плонуть, поэтому она на всякий случай делает дипломатический финт:

— Насчет Тамарочки не скажу, не знаю — меня в аккурат Евгения Михайловна за обратом послала, а Тася у нас новенькая — может, недоглядела... Да ты ж меня, Дуся, знаешь: у меня кусок поперек горла станет, если дети не накормлены!

Дуся смягчается, ярко-черные цыганские глаза ее приобретают нормальные размеры и форму, и, потягиваясь, как пантера, она почти благодушно сулит:

— Ну, смотрите — вот приду к раздаче...

— Приходи, приходи, Дусенька, — с восторгом подхватывает Нюрка, — и нам поможешь, а то как оглашенные мотаемся, и пообедаешь с нами чем бог пошлет!

Дуся уходит, Тамарка сразу же успокаивается — жаловаться больше некому — и укладывается спать, а Нюрка, понизив голос, со знанием дела поучает Анастасию:

— Ты гляди, Дуськиных детей до рычажки напихивай, а то Дуська, она кого хошь с косточками сожрет. Это она Христину выжила, которая до тебя была.

Что касается Генки, его насильно напихивать не приходится. В свои три года он почти не ходит, не говорит, и кажется, что это неземной красоты создание рождено исключительно для переработки пищи. Ест он много и жадно, пока не устанет и не начнет срыгивать. Если его вытащить из-за стола раньше, он начинает недовольно гудеть, и бдительная Тамарка тут же поднимает крик:

— Геночка гулонный! Гена кушать хочет!

Если же все-таки настает такая минута, когда он наконец сам отваливается от еды, и его в состоянии блаженного насыщения пересаживают в кровать, не проходит и четверти часа, как раздастся Тамаркин требовательный голос:

— Теть Нюра, теть Тася, а Генка кловать обослал!..

Иногда она выражается поделикатнее, но суть дела от этого не меняется.

Заглянув на густой, добротный запах, «баушка» крутит носом: «Крепко!» — и ехидным дребезжащим голоском запекает:



Бог ребеночка послал —
 Все пеленки обосрал:
 Помоги, родная мать,
 Мне пеленки постирать!..

Нюрка при этом обычно облегчает душу незатейливым, но полновесным матом, который тут же преданно повторяет за ней Васька Каширский. Вообще косноязычный, он очень старается и, если получается похоже, с гордостью хвалится старшим:

— Тетася, тетя Нюра, я сказал... — и дальше следует, что именно он сказал.

Ну как тут должна реагировать воспитательница? Она говорит:

— Молодец, Васенька, только лучше постарайся сказать «табуретка».

— Теть Тася, а я еще сказал...

— Да нет, Васенька, ты лучше скажи «р-р-р». «Рыбка, коровка»...

И через минуту он радостно провозглашает:

— Теть Тася, а я сказал тук-тук-баррретка! И р-рыбка!

— Ай, молодец!

Тут уж обязательно надо похвалить!

Христина, которую выжила из яслей Дуся Новичкова, работает теперь в бригаде огородников. Она из «западников» — из тех, кого в тридцать девятом выслали в Татарию с Западной Украины. У нее прекрасные глаза скорбящей Богородицы («Не рыдай мене мати зряще во гробе...»), большой унылый нос, хиленький четырехлетний Збышек и крошечная Рузя. Рядом со Збышеком трехлетний Васька Каширский кажется великаном.

Когда погода плохая и огородникам в поле делать нечего, Христина приходит в ясли помогать. То почистит Бабе-яге картошку, то детское бельешко стирает — но охотнее всего она берется укладывать малышей.

Колыбельных она не знает и поет детям взрослые песни на незнакомом, но понятном языке.

Песни в основном грустные, но малыши благополучно засыпают — а Христина все поет и поет:

Ты пойдзеш гуром, ты пойдзеш гуром,
 А я гостинцём,
 Ты бэндэш паньом, ты бэндэш паньом —
 Я бэндэ ксьонцём...
 Пшед то́бом бэндэт, пшед тобом бэндэт
 Шапки здэймоваць —
 А ми яко ксьондзу, а ми яко ксьондзу
 Рэнчки цаловаць...

Дети уже спят, причмокивая и посапывая, а Христина все печально пророчит:

Ты пойдзеш гуром, ты пойдзеш гуром,
 А я дольно́й,
 Ты заквятнеш ружом, ты заквятнеш ружом —
 А я калыно́й...

Не поймешь, польский это или украинский, но такая в нем грусть, что в пору сесть рядом и, качаясь вместе с ней, вместе с ней заплакать.

А дети спят...



Нюрка, по своей привычке всеми командовать, цыкнула как-то:

— Ну чего воешь — на дождь, что ли?

Но тут Баба-яга впервые рассердилась на свою любимицу:

— Ох, Нюрка, Нюрка, не клевал тебя, видно, в задницу жареный петух!

Погоди, дождешься!

— А я чо? Я ничо. Просто поет мотивно, аж слушать противно.

Вскоре после этого Евгения Михайловна, официально подняв брови, сказала поварихе:

— Смотрите, Вера Яковлевна, вы тут подкармливаете эту Гродзинскую — как бы разговоры не пошли.

— А я ее за работу кормлю, и убытку тут никакого: лишний черпак воды налью — лишнюю тарелку супа выкрою.

А Нюрке при случае было сказано:

— Гляди, Нюра, ябедничать тоже с умом надо — а то я еду-еду, не свищу, а наеду — не спушу. Не пожалеть бы тебе!

— Да что вы, баушка, — преданно залепетала Нюрка, — да вы же знаете, я к вам всей душой. Может, Анастасия чего сболтнула, а я — боже упаси!

Однако учла и больше Христину не задирали: с «баушкой» дружбу терять не выгодно.

Тася заметила: Христина никогда не выделяет своих детей среди прочих — и если, проснувшись, одновременно заплачут пятимесячная Жанка Ольги Петровой и маленькая Рузя, она непременно первой возьмет Жанку. Проверит, сухая ли, нет ли, если что, перепеленает и, подбрасывая, запоеет ей свою единственную веселую песню (которая, правда, тоже начинается с печального события):

Ойцец умар, сын позóстав,
Сын по ойце фаю дóстав —
И попые чай, чай, чоколаду, чорну каву,
И попые чай, чай, чоколаду, рум!

Жанка смеется, плещет ладошками, маленькая Рузя ревниво тянется к матери, — и сердце Христины не выдерживает: она сажает Рузю на коленку и баюкает обеих:

Ойцец в нэби Бога хвале,
Сын по ойце фаю пале —
И попые чай, чай, чоколаду, чорну каву,
И попые чай, чай, чоколаду, рум!

Но есть одна песня — ее Христине никогда не удастся допеть до конца. Когда Христина садится чистить картошку и тоненько заводит:

В зэлэним гаечку словейки спеваюць,
В зэлэним гаечку словейки спеваюць...—

у Таси тоскливо сжимается сердце, а бабка, хмурясь, прикрывает дверь кухни, чтобы не слышали дети.

...Юж мого Ясейка, юж мого Ясейка
До войны волаюць...
До войны волаюць — юж конь ойседланый,
До войны волаюць — юж конь ойседланый...



Картофелины вертятся в умелых, работающих руках, тонкая, полупрозрачная лента очистков вьется, не обрываясь, а голос Христины начинает дрожать, и по резким морщинам большого, некрасивого лица сбегают светлые, прозрачные слезы.

...Кому ж ми zostавляш, кому ж ми zostавляш,
Мой Ясьо коханий?

Христина смолкает на секунду — кажется, она борется с песней, но песня сама, против ее воли, выбивается тоненькой жалобой, слабой надеждой:

...Зоставляю ти тэму, цо кролюе в нэби,
Зоставляю ти тэму, цо кролюе в нэби, —
А за рóчок за два, а за рочок за два
Повроцем до тебе...

Повариха дергает хищным носом, сердито запихивает волосы, выбившиеся из-под платка.

...Ой, юж рочок мынув, юж на другый точе,
Ой, юж рочок мынув, юж на другый точе, —
А я за Ясейком, а я за Ясейком
Выплакала очей...

Нет уже хитрой, пройдошливой бабки-поварихи, нет простодушной труженицы Христины — плачут две женщины, две горькие сестры, которых насильно оторвали от дома, от родных мест. В той далекой земле остались их корни, они болят, эти корни, как болит у ампутанта отрезанная нога...

Тасе хочется обнять их, прижаться щекой к щеке, сказать им: и я, и я с вами, и меня оторвали от дома, увезли в такую даль, где даже дети говорят на непонятном мне языке, и не осталось у меня никого и ничего, и не к кому прислониться — но не умеет она. Трудно девочке, не знавшей материнского тепла, приласкаться к кому-то, и еще горит рубец от ожога, оставленного Елизаветой Андреевной Жигаловой — ее старательным доносом, который показал Тасе на прощание следователь.

Хочется пожаловаться, что степь здесь пахнет не так, и не теми песнями звенят вечера, и, когда репродуктор в конторе вдруг запоет серебряным голосом Оксаны Петрусенко «Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому...», сердце разрывается от тоски по земле, на которой ты родилась: «Повій, вітре, на Україну...»

Только жаловаться они с сестрой с детства не приучены. С младых ногтей девицы Гарднер воспитывали в себе характер краснокожих индейцев по романам Фенимора Купера: кололи себя булавками, загоняли перья в горбушку кисти — и при этом улыбались. Так надо было: индейцы, по Куперу, молча улыбались, когда их пытали враги и даже когда, привязанные к дереву, горели на костре.

...Но вот наваждение проходит, женщины сердито сморкаются и принимаются за работу.

Обычно Нюрка моет полы, а Тася укрощает детей.

Вообще полы мыть Нюрка любит, а пуще того — чистить на кухне картошку. Во-первых, всем видно, какая она работающая: огонь-девка, все в руках спорится! И ни одна мамаша не заругает, что недосмотрела или чем обидела ее дитя: с ними Анастасия занималась!



Конечно, Тася и вправду не такая расторопная, и полы сроду голиком не мыла — она и знать не знала, что такое голик, так что тут Нюрка королева по сравнению с ней. Но зато разве не греет сердце тайная радость, когда сгрудятся вокруг тебя эти ребятишки, и все эти мордашки, такие разные — все обращаются к тебе, как подсолнушки? Ты читаешь им таинственно и грозно:

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой...

И вдруг синеглазая Зина Батраева, тихий цветочек, тайная твоя любовь, спрашивает:

— Тетя Тася, а что такое «спальня»?

И всеведущая Тамарка тоном незыблемого превосходства поясняет:

— Это когда там, где спят, занавеской занавешено.

Бедные вы мои!

А как они торжествующе смеются, когда на помощь герою приходит крокодил! Как довольны, что он:

...мочалку, словно галку,
Словно галку, проглотил!

Васька Каширский ликующе хлопает в ладоши.

— Как он ее проглотил, Вася?

— Ам!

Даже убийственно назидательный конец сказки:

Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое... —

вызывает у Васьки здоровый энтузиазм: он протягивает Тасе крепкие ладошки и тоном, требующим немедленного поощрения, выкрикивает:

— Вася! Мыл!

— Ну, вот какой у нас Вася молодец, — говорит Тася, глядя круглую стриженую головушку, и пальцы ее колет щемящая нежность.

Неизвестно, что понял и усвоил из «Мойдодыра» Рафик Шарафутдинов, но того, что кто-то другой рядом с ним за что-то обласкан, он пережить не может. Энергично оттирая Ваську боком, задком, локтями, он тоже тянет ладошки, и взывает, и требует свою долю внимания:

— Мин, апа! Мин!²

— И ты, и ты! И Рафик у нас молодец, и Рафик ручки мыл!

Словесного поощрения Рафику недостаточно. Буруз решительно подставляет Тасе шишкастую, щетинистую головушку: погладь!

Ах ты, хитрюжка! Этот не пропадет!

Игрушек нет, нет ни книжек, ни картинок — Анастасию выручает услужливая память: изо дня в день она пересказывает этим башибузукам все любимые книжечки своего детства. Тут и Чуковский, и Маршак, сказки братьев Grimm и сказки Андерсена, тут «Ребята и зверята» и «Звери дедушки Дурова». А когда память Тасю подводит, на помощь приходит семилетний Миша Трейфус, са-



мый старший и самый молчаливый из всей этой оравы. Без улыбки, едва шевеля губами, он подсказывает рассказчице забытую строчку, и никакое чувство не освещает при этом его треугольное личико. Словно кассовый аппарат: выдал билетик — и снова замер.

Пока Тася говорит, Миша слушает внимательно и хмуро, но, как только она умолкает, он тихо отходит. Видно, он много читал и много знает наизусть — наверное, он единственный из детей умеет читать, да и нет в кормхозе книжек. Может быть, у Миши есть? И зачем ему слушать то, что он знает наизусть? А если это и доставляет ему какое-то удовольствие — почему оно никак не выражается? Ни радости узнавания, ни удовлетворенного самолюбия — ничего, ни малейшего проблеска.

В его отношении к Тасе тоже нет ни тени приязни. Кажется, что, подсказывая ей, мальчик не ее выручает, а оберегает от увечья любимые стихи.

С другими детьми он не играет и не дерется, держится отчужденно. Кроме того, у него удивительная способность исчезать неведомо куда. Отыскаться он может в самом неожиданном месте, когда всех уже трясет, а Евгения Михайловна трет виски нашатырем: на полке нетопленной бани, на бугре за тракторным парком, в балочке у колодца...

Он единственный, за кем не приходит мать. Вернее, она никогда не заходит в ясли, даже не подходит близко. Близорукая Тася так и не знает ее лица. После ужина Миша выходит на крыльцо и терпеливо ждет, когда на взгорке, перед бараками, замаячит высокая женская фигура. Так странно они движутся навстречу друг другу: она, завидев его, замедляет крупный, торопливый шаг, а он, сказав воспитательнице или няне «Я пошел», первые шаги делает неспешно, словно нехотя, а уже от колодца в гору пускается бегом.

Для Таси этот мальчик — загадка. Нюрка не любит загадок, а Евгению Михайловну они раздражают. Только Баба-яга иногда смотрит на Мишу — и думает, думает...

Спит Тася на топчанчике, в закутке за шкафом. Спать на двух метровых матрасиках, набитых жесткой соломой, хлопотно и беспокожно: они все время разъезжаются, и Тася сползает на голые доски. Простынку Евгения Михайловна разрешила ей почему-то только одну, хотя простынки длиною тоже чуть поболее метра. Тася застилает ею верхнюю половину, где полагается быть подушке, а укрывается тем же, выдавшим виды, пальтишком.

Рано-рано, задолго до рассвета, прибегает заправщица, худенькая Зарипа, и приносит четырехмесячного Хораса. Сонная Тася, отчаянно зевая, укладывает его в кроватку, стоящую у торца подтопки.

Иногда по вечерам, если Евгении Михайловне захочется уюта, она велит Тасе наколоть дров и растопить огнедышащее божество. Топится обычно недолго, пока Евгения Михайловна напевая вяжет в красном струящемся свете, но тогда к приходу Зарипы подтопка еще сохраняет не то чтобы тепло, но хотя бы живое дыхание, едва ощутимое радушие все-таки жилого помещения.

Синенький, сморщенный, больше похожий на зародыш, чем на уже родившегося ребенка, Хорасик извивается, как червячок, сучит озябшими влажными ножонками и жалко сипит: слава Богу, в нем еще не проснулся голос.

² А я, тетя! А я! (*татап.*)

Пеленки мокры, от распашонки исходит приторный запах перегоревшей мочи — видно, Зарипа просто сушит их, не выполаскивая. Тася уворачивает худенькое тельце со вздутым животиком в сухую пеленку, морщась от запаха. Обмыть бы — так нечем, нет теплой воды: когда еще Баба-яга плитку растопит! Бедный червячок!

Тася прижимает к груди слабенько сипящий пакетик и качает, качает, качает, бормоча малышу жалостливые, ласковые слова. Малыш успокаивается, начинает тихо посапывать, личико теплеет, и синева уступает бледной смуглоте. Господи, хоть бы не проснулся! Подремать бы еще хоть полчаса!

Тася осторожно опускает угревшийся кокон в кровать, затаив дыхание, укрывает одеяльцем — пронеси, Господи! — и на цыпочках делает шаг к лампе — прикрутить. И тут раздается громкий, уже сформировавшийся вопль. Проснулся!

Наверное, у него болит животик — он выгибается, «пручается», как говорит Христина, — и кричит, кричит — просто непонятно, как в таком тщедушном, хилом тельце рождается такой мощный звук!

Негодующая, появляется из своей светелки Евгения Михайловна:

— Безобразие, с одним ребенком не можете справиться! Неужели заведующая должна за вас пеленки менять?! За что вам только деньги платят!

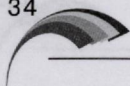
Проследовав в сени, Евгения Михайловна пускает в ведро звонкую струйку и возвращается, не переставая отчитывать Анастасию. Дверь в светелку закрывается.

Господи, как хочется спать! Но у этого червячка — Тася зовет его Тарасиком — удивительное чутье: стоит ей приподняться, чтобы вернуться на вожденный топчанчик, как малыш начинает кряхтеть и постанывать, и Тася сдаётся. Тут уж ничего не поделаешь. Уткнувшись головой в сложенные на спинке кровати руки, она забывается зыбкой дремотой, не переставая ощущать, как текут, истекают драгоценные минуты. Вот сейчас придет счетовод Ольга Петрова и принесет свою Жанку, и надо будет снова успокаивать и убаюкивать, а там уже утро, пойдут остальные дети: и на весь день, до самого вечера — мучительное желание спать, спать, спать...

Особенно трудно держаться, когда после обеда они с Нюркой уложат детей на тихий час, Евгения Михайловна удалится отдыхать и в яслях воцарится тихое посапывание, сладкое чмокание, редкие всплески невнятного бормотания и другие мелкие сонные звуки.

Ну вот, ну вот: торопливые шаги на крыльце, стук в дверь. Круглолицая, курносенькая, в светлой кудели шестимесячной завивки, раскрасневшаяся от спешки, Ольга бурно целует сонную розовую мордашку и, ткнув Тасе туго свернутый пакетик, всхлипнув, убегает. Жанка, слава Богу, спит, не просыпается; спят фиалковые глазенки, плотно смежив мохнатые реснички, спят нежные губешки и русые волосики — спит человек. Что тебе снится, маленькая?

Хорошо Нюрке — она еще и не проснулась, наверное. Конечно, если бы Тася тут не ночевала, они бы по очереди дежурили. Ясно, почему она так тогда обрадовалась: до прихода Таси ей, видно, тоже пришлось помучиться. Бедного Хораса она до сих пор ненавидит. Его горькое скрипение приводит няньку в бешенство: красивые зеленые глаза становятся злыми, как у бодливой козы, румяные губы выплевывают хлесткие татарские ругательства. Странно, почему она ругает его по-татарски? Ведь бранятся обычно, чтобы облегчить душу — для себя, так сказать? Но Нюрка материт Хорасика *на его языке* — кажется, ей



доставляет удовольствие мысль, что он уже понимает, — но ответить не может. А когда никто не видит, она трясет и шпыняет посиневшего малыша так, что головенка у него болтается, как у тряпичной куклы.

— Ты что, Нюрка, — с ума сошла? Ты ж ему голову оторвешь!

— А ты кто такая, чтобы мне указывать? Не твое дело — вякнешь, никто тебе не поверит, никто не видел. Этот выbleядок, что ли, пожалуется?

Вот тебе и Снегурочка...

Живет Нюрка в третьем бараке. Там на каждую семью по комнате. Они с теткой вдвоем живут: сын у тетки в Чистополе, на часовом заводе работает, так что им вдвоем — красота! А пятый барак — он до войны нежилой был, вроде клуба: кино там показывали, лекции проводили, собрания всякие. А как нахлынули эвакуированные — и его заселили. Народ в нем больше случайный, временный: кого из города за тунеядство выслали, кого, как Тасю, из тюрьмы выпустили, кого из мордовских лагерей — а идти некуда, ни кола ни двора. Перегородки ставить, комнаты городить — руки не доходят. Семейные хоть нары себе сколотили, занавесками отгородились, а одиночки — так, кто во что горазд. Нет, не пойдет больше Тася в пятый барак.

Сколько просила Евгению Михайловну, чтобы поговорила с директором — может, другое какое-нибудь жилье найдется — нет, не хочет заведующая, невыгодно ей, чтобы Тася ушла — это же, считай, и сторож дармовой, и няня ночная.

Светает. Сейчас повариха придет плиту растапливать. Кончилась ночь. Начинается суета.

В перерыв матери грудняков прибегают кормить их. Молчаливая, тихая Зарипа забивается с сыном куда-нибудь в уголок. Кормит она недолго — наверное, у нее мало молока, и голодный Хорасик не перестает хныкать. Баба-яга неласково тычет ей мисочку супа. Татарочка торопливо выхлебывает суп и, отводя глаза, возвращает миску с робким «спасибо». Больше, кажется, никто ничего от нее не слышал. Может, просто не знает по-русски.

Запахнув платок, Зарипа исчезает быстро и бесшумно, как тень.

Зато Ольга воркует над Жанкой то восторженно, то сокрушенно, приглашая всех и каждого разделить ее чувства. Между ней и Тасей невидимой струной протягивается ревнивое соперничество. Подавая Ольге разомлевшую Жанку, Тася не преминет придиричиво спросить: «А руки-то погрела?» И что-то похожее на зависть опахивает ее жаром, когда Жанка, хватаясь крохотными пальчиками за белую, налитую молоком грудь, ловит губешками розовый сосок и начинает деловито, успокоенно, сосредоточенно чмокать. Зато насытившись, Жанка неточно, без звука, всплескивает ручонками и, качнувшись всем тельцем к Тасе, заходится трогательно беззубым счастливым смехом. «Иди-иди ко мне», — с тайным торжеством манит ее Тася, и теперь уже Ольгин черед, застегивая кофточку, томиться тайной ревностью.

В ясли и в баню завезли дрова — красавицу осину и закамские дубы — жилистые, узловатые комли. Шофер кормхозной полуторки, Гриша, пожалел девчонок: сам посбрасывал тяжелые кругляши и дубовые раскоряки. Присел на крыльцо, закурил, промокнул нечистым платком косточки пальцев — раскрасовил ненароком. Нюрка вихрем метнулась в помещение, оторвала ленточку от



чистого подгузника: давай перевяжу! Парень поднял на Тасю темноватые, как на иконах, веки: а ты не завяжешь? Перевяжи, а?

Господи, ресницы-то какие! Тебе бы такие! Тебе бы такие серые, с поволокой, глаза! И зачем такие парню? А вот руки у Гриши нездешние, тонкие, с длинными пальцами, как у папы, — только у папы руки были белые, а у Гриши в кожу вьелся мазут, и ногти обломаны...

Завязала, осторожно отодвинула, еще раз взглянула — глаза в глаза. Задержал легонько перевязанной рукой:

— Ты чья такая? Вроде бы я тебя не знаю.

— А ты чей?

— Я-то? — усмехнулся невесело. — Я ничей. Так, кормхозовский. Хочешь — твой буду?

— Ой, гляди, Гришка, ухажорке скажу! Чтой-то ты больно ласковый стал!

— Чтой-то ты, Нюра, больно сердитая стала, — в тон ей ответил парень. — А я-то думал — дай помогу Нюре дрова попилить. Не хочешь — как хочешь. Прощай, коли так.

— Да что ты, Гришенька, — я ведь так, пошутила.

— Ну, шути, шути. И я пошутил, — сказал устало. И уже Тасе: — Будь здорова, чернявая! Спасибо, что полечила.

Поурчал мотором и тронул, оставляя голубой бензиновый чад.

— Глянулся тебе Гришка? Вижу, что глянулся. Только ты не воображай, у него таких, как ты, пруд пруди. Безродные — они все бесстыжие.

Кто безродный, кто бесстыжий — не поймешь у этой Нюрки.

— Дак он же, Гришка. Спецдетдомовский он. Его Александр Сергеич где-то подобрал, на курсы шоферов и механизаторов устроил. Он у дяди Вани Колбасова живет.

Дядя Ваня — Тася уже знает — он конюшной заведует или — как это? — конным двором. Стало быть, у дяди Вани...

Станный он, однако, этот Гриша. Непохожий на местных. Местные ребята, и татары и мордва, все больше невысокие, коренастые, круглолицые. А Гриша — высокий, тонкий; на щеках, стесанных здоровой худобой, в редкой улыбке — ямочки. Волосы легкие, русые, а кожа век под прямыми, вразлет, густыми бровями — темна, и светлые глаза от этого печальны.

На гулянке у конторы Тася видела его только раз: постоял у Дусиной рябины, посветил огоньком сигарки, отошел, присел на крыльцо, поглядел, как грозно бьет дробы мордва — и ушел тихо, никому ничего не сказав.

Парней на весь кормхоз — горсточка. Даже 14-летний Васька Топорков — и тот кавалер! Есть что-то жалкое в том, как счастливо взвизгивают, как жеманно бранятся великовозрастные невесты, какими игривыми шлепками и затрещинами награждают мелковозрастных озорников, которые щиплют и лапают их с неуклюжими солеными шуточками.

Тасю ухажеры обходят — будто ее и вовсе нет. Не знаешь, обижаться или радоваться.

Скорее — радоваться. Или нет?

Народ тут собрался пестрый, разный народ. Мордва и татары из окрестных деревень, переселенцы — или ссыльные? — из Западной Украины, эвакуиро-



ванные ленинградцы и такие, как Тася. Ну, а в разгар уборочной еще бывает — расконвоированные заключенные. Такой вот человеческий винегрет, такая нескладная жизнь.

Вечерами, когда последних детей забирают, в яслях становится тихо и странно. В окнах густеет темнота, за стенами и по углам просыпаются какие-то звуки — то ли дерево потрескивает, подсыхая, то ли мыши скребутся в подполе. Повариха уходит, унося укладистую кошелочку; десять раз заглянув в маленькое зеркальце, убегает Нюрка; Евгения Михайловна, подведя брови карандашом и примерив перед зеркалом пару обаятельных улыбок, собирается в контору, на наряд. Дверь за ней закрывается, и Тася с Жанкой остаются вдвоем. Для конторы световой день — не указ, работу кончают затемно — особенно если над ними нависает очередной отчет, месячный или квартальный. Значит, Ольга придет не скоро.

Тася беседует с Жанкой, делится с ней накопившимися за день обидами и сомнениями. Жанка сочувственно слушает, угукает, иногда, нежно гудя, скользит по Тасиному лицу влажным полуоткрытым ротиком. Если Тасе выпадает чем похвастать, Жанка радуется вместе с нею, трясет, зажав в кулачке, Тасин палец и поет. Иногда, от полноты душевной, мы даже танцуем: ататушки-ататы, трататушки-трататы, ай да Жанночка, ай да умничка!

Плачет Жанка не часто, слабенько — не то что Хорас! — но до того горестно, что сердце разрывается. Легче, кажется, голову на рельсы — только бы она не плакала! Хотя где они, те рельсы — разве что в Казани...

Ольга, прибегая, начинает расстегиваться еще с порога — торопливо потирает руки, прячет их под мышками, чтобы согрелись. Завидев мать, Жанка начинает ерзать, подпрыгивать, выкручивается — ам!

Две Ольги — Ольга-большая и Ольга-маленькая — вместе эвакуировались из-под Ленинграда, со станции Сиверская, вместе попали в кормхоз — в бухгалтерию. Вместе ходили через лес на танцы в офицерский резервный полк. Кончилось лето, получили новые назначения brave летчики, их сменили другие, но для Ольги-маленькой танцы кончились. А весной родилась Жанка — теплая крохотулечка с фиалковыми глазенками. А отец ее исчез, испарился, как и не было, — ни письма, ни весточки. Да и не знал он, что должен стать отцом — не сказала ему Ольга. Боялась сказать: вдруг бросит! Да и сама-то поняла не сразу. Думала, с голодухи это, от волнений, от перемены климата все у нее разладилось — бывает ведь так! У некоторых, говорят, по году крови не шли. Вот подкормится маленько, придет в себя, взойдет в тело — и все наладится. А уж как поняла, поздно уже было. Одного боялась: не бросил бы! А его отозвали.

Осталась с Жанкой — и радость, и позор. Вот этот родной комочек, счастье-ице родное — ведь она, если подумать, всю жизнь Ольгину загубила. Что скажут родители, если, дай Бог, живы? Нагуляла, в подоле принесла?! У них там по старинке обычаи строгие: наутро после свадьбы простыни вывешивают, чтобы все соседи видели, что невеста до венца честная была. И кто ее теперь возьмет с довеском, если на каждого мужика после войны почитай десять девок придется, если не боле?

И ревет Ольга, сморкается в довоенный платочек с кружавчиками, и Жанка вторит ей сочувственно, и качается с ними в обнимку Тася, и жалеет их, и



завидует им, и думает о своей неприкаянной жизни и о том, как нескладно устроено все на свете...

Наплакавшись, Ольга уворачивает Жанку и уходит, а Тася остается одна со своими мыслями...

По ту сторону распадка, у конторы, уже пиликает гармошка — это Пашка-хрипатый. Коротконогий, плоскостопый — издали кажется, на коленках человек ковтыляет, — но вечером и он жених.

Слышится металлический Нюркин голосок:

А ты пляши, пляши, пляши —
Больно ножки хороши!
К этим ножкам да сапожки —
Погуляли б от души!

Обычно Нюрка в круг вступает первая: чистенькая, аккуратно заплетенная, в крапчатом белом платочке, она выходит, насупившись и взбывив голову, ни на кого не глядя и крепко сжав вымытые кулачки. Р-раз — и звонкие Нюркины каблуки, как полковой барабан, рассыпают четкую дробь.

Кто бы подумал, что это грозное наступление — не что иное, как приглашение к танцу! Интересно, почему это мордовские девчоночки так грозно начинают перепляс? Потом будут и озорные ужимки, и смех — но начало, но выход!.. С ума можно сойти — прямо атака каппелевцев в «Чапаеве»!

— Чо думаешь, Анастасия, — тревожится Нюрка, — выростут у меня титьки, а? Генка Чапыжников говорит, всем ты, Нюрка, хороша — и с лица красивая, а титьки — как прыщики, и подержаться не за что. Ему чо надо, Генке, — чтобы титьки, как у Ленки, сеструхи его. А у Ленки они — во! Как у стельной коровы! И чего делать, чтоб скорей росли — прям' не знаю. Некоторые девчонки подкладыши подкладывают — а что как кто пощупает?

Проблема, конечно.

Тактика и стратегия завоевания Генки Чапыжникова разрабатывается хитроумно и вдохновенно, и, хочешь не хочешь, Тасе тоже приходится принимать в этом участие.

— Слышь, Анастасия, я чего придумала. У Дуськи Новичковой мужнина форма есть: галифе, гимнастерка и фуражка тоже. Он у нее росточком в окурат как ты. Давай мы тебя парнем оденем! Наперед с Дуськой договоримся — пушай скажет, что брат приехал. Навроде на побывку приехал, всем незнакомый, и сразу ко мне — все ко мне клеится! Это чтоб Генка приревновал.

— Выдумаешь тоже! А голос? А косы куда девать?

— Косы под фуражку спрячем, а голос... Простыл, скажем. Квасу холодного хватил. Мы с тобой шептаться будем, так оно Генку еще пуше проберет.

Сказано — сделано. Ох, и лихой же из Таси парень вышел! Галифе и гимнастерка, правда, широковаты, да не беда — ремень все поправит. Косы под фуражку — только чубчик крутой из-под козырька. Тася сомневалась — не по форме вроде, но Нюрка настояла: обязательно чуб!

Подправили жженой пробкой Тасины ломкие брови, наложили легкую тень по верхней губе — вечера сейчас безлунные, в темноте не угадаешь. Хотели было

еще горло завязать, да потом передумали: как-то не мужественно получается. В сапоги — тридцать девятый размер — в носки тряпок набили, начистили — красота!

Эффект превзошел все ожидания. Нюрка, под ручку с Тасей, явились, когда гулянка была уже в разгаре. Пашка, благоухая самогоном, вдохновенно терзал гармошку; Верка Беляшова, топя тяжелыми ногами, самозабвенно вопила:

Мой миленок — что теленок,
Только разница одна:
Милка кушает помой,
А теленок никогда!

Томно прильнув к плечу кавалера — пусть все видят! — Нюрка тотчас откликнулась:

Эх, ты пляши — тебе пристали
Чесанки с галошами:
У тя выходка хороша,
Как у старой лошади!

Кругом засмеялись. Кто-то крикнул:

— Эй, Нюрка, ты где такого кавалера отхватила? Кто таков?

Клюнула рыбка на наживку! Нюрка повела плечиком — хороша чертовочка, прямо артистка! — и выдала:

Мой залёточка хвалился —
Нипочем не завляку!
А я такого завляку —
С левольвертом на боку!

Пропела — и томно — Тасе:

— Айдайте, Коля, погуляем.

Сработало!

— Ты чо, Нюра, не пляшешь? Загордела, что ли?

— Не хочется дробн-то. Устала я нынче. Нам бы танга какого... Сыграй, Паш, танга, а?

Пашка, надувшись от важности, развернул меха в «Утомленное солнце».

Водить Тася умела, любила водить — любила сплетать привычные па в новом, неожиданном рисунке. Шепнула Нюрке: «Гляди только, слушайся», — и уверенно повела ее в круг. Пальцы ощутили, как напряглась от старания Нюркина спина. Ну, держись, Анастасия!

Женственная покорность Нюрке явно не давалась. Рука до немоты устала подчинять ее музыке и своему замыслу. И когда наконец — слава тебе, Господи! — Пашка рванул меха, ставя точку, Тася последним усилием заставила даму сделать эффектный прощальный пируэт и вытолкнула ее из круга.

— Пойдем, Нюра, провожу, — сказала сипло.

Нюрка оглянулась с сожалением, медля расстаться с триумфом, но повиновалась.

— Айдайте, Коля. До свиданьица!

— Что так рано? — послышались ревнивые голоса.

— Хорошенького понемножку, — протянула надменно, прильнув к Тасиному плечу. — Мы еще погуляем, — правда, Коля?

Сдерживая смех, чинно, неторопливым шагом миновали последний барак.

— Ой, до чего здорово все вышло! Девки-те, ей-богу, прям' полопаются с зависти! Уж на что Надька Мониная гордячка, и та уж так на тебя зенки запускала, так запускала! Видать, глянулась ты ей, — захлебывалась Нюрка.

— А я так боялась, что у меня фуражка слетит! Крутану тебя в танце — а косы возьмут и вывалятся!

— Во смеху-то было бы, представляешь! А ты меня этого танга подучи, а? Я — похватливая, быстро научусь — вот увидишь! Айда теперь в ясли. Переоденься, да я Дуське одежду отнесу. Велела сразу отдать.

— Гляди, расскажет кому-нибудь!

— Да ты что — дурная она, что ли? Ей же выгодно: перед ней теперь девки ковылем будут стелиться, чтобы с братом познакомила!

Наутро — да кто это когда видел такое? — Нюрка с Дусей Новичковой шепчутся, как подружки-заговорщицы, и залиvisto хохочут. Оказывается, Дусю уже с утра зазывали девчата на молокоферму, сливками угощали — прямо из сепаратора, все про брата расспрашивали.

— А чего это ваша заведующая за молоком к вечернему удою посылает? — вспоминает свои прокурорские обязанности Дуся. — Утрешнее молоко во сколь раз жирнее!

— Так ить с утра нам, сама знаешь, мороки сколь, — тарыхтит Нюрка, — детишек прими, переодень, накорми, да и на кухне тоже — а к вечеру оно посвободнее малость...

Врет Нюрка. Не потому совсем. Просто за ночь принесенное молоко отстаивается, затягивается густыми розоватыми сливками, и Евгения Михайловна, проснувшись и совершив поход к поганому ведру и утреннее омовение, зачерпывает личной кружечкой божественный нектар сначала из одного ведра, потом из другого, и медленно, смакуя, как птичка, каждый глоток, выщепивает до дна. Затем обтирает кружку розовым пальчиком изнутри и снаружи и намазывает, священнодействуя, лицо и шею. Тази она при этом не замечает — словно та стол или стул.

Потом приходит «баушка», отмечает всевидящим оком белый след на потревоженной сливочной поверхности — и забирает ведра на кухню. Там уже молоко в ее распоряжении. Часть идет на кашку груднякам, остальное раздают детям за завтраком.

Нет, не выгодно, не выгодно брать с фермы утреннее молоко: что ж его — принести и раздать сразу?

Вжик — а-ашх, вжик — а-ашх, — выговаривает пила, — вжик — а-ашх, — и сеет желто-розовые душистые опилки... Чудесное дерево — осина! Светлоствольная, трепетная при жизни, она и срубленная прекрасна нежной живописью своей древесины. И пилится легко. Конечно, жару от нее маловато, зато как колется! А-ах — и метровый кругляш пополам; а-ах — и плаха распадается на поленья.

Дети, перемытые после обеда, спят, Евгения Михайловна отдыхает, пила ходит легко и весело — и Нюрка радостно откровенничает. Вроде бы после озорной их проделки затеплилось между ними что-то доброе.

— А Генка-то давеча все выспрашивал, откуда кавалер, кто таков, как спознались. Дуськин брат, говорю, в Чистополь на побывку приехал. Познакомь, григ, Дуся, с какой-нито девушкой, чтоб скромная, работающая и, само собой,



красивая. А Дуся в окурат фотографии мои на паспорт получила — я наказывала, — ну, и показала ему. Дак он как пристал — познакомь да познакомь! Я, грит, серьезные намерения имею — я, может, даже аттестат на нее переведу. Ну, Дуся ему, — она, мол, молодая еще, а он, грит, ничего, подождем. Вот уж аттестатом я Генку совсем добила!

Творческая энергия Нюркина неисчерпаема, и нет предела полету ее фантазии.

— Однако ничо у нас танго-то получилось, а? Верка — та просто завистью вся изошла. Где, грит, ты, Нюрка, по-городскому так нахваталась? А ты, слышь, Анастасия, подучи меня еще?

Тася вспоминает немоту в руке от Нюркиной старательной спины и с сомнением вопрошает:

— Это когда же?

— А после сна — навроде мы детей учим.

Но вот дело доходит до дубовых комлей — и конец всем идиллическим отношениям!

Пилу заедает, Тася рвет ее на себя, толкает на Нюрку; упрямое металлическое полотно строптиво выгибается и ехидно визжит.

— Ты чо делаешь, растак твою мать, — орет Нюрка в справедливой ярости. — У тебя руки чо — из задницы растут? Пилу сломаем — где новую возьмем?

И — мать-перемать, растак и разэдак. И хотя Тася понимает, что Нюрка права — пильщик из нее никакой, в ней, вместе с отчаянием, нарастает глухое раздражение. Конечно, мата, которого ей довелось послушаться на этапе, в тюрьме и в кормхозе, хватит с лихвой на всю оставшуюся жизнь, и пора бы уже, кажется, приобрести иммунитет, но сейчас он почему-то воспринимается как личная, конкретно адресованная обида.

— Ты что за каждым разом мою мать вспоминаешь, — вскипает она. — Что тебе до моей матери, дура ты этакая? Я не хороша — ругай меня, а мать мою не смей, не замай — при чем тут она?

Кажется, с тобой уже было что-то похожее — ах да, с тем, первым следователем, да-да...

И тут, завидев подходящую Евгению Михайловну, Нюрка испускает нелепый, тоненький вой, некрасиво расквасив губы:

— За что она меня, Евгения Михайловна? Я ей (трам-та-ра-рам!) слова черного не сказала, а она (трам-та-ра-рам!) дурой обзывается!

Евгения Михайловна, оглушенная взрывом изящной словесности, секунду смотрит на нее оторопело, но тотчас же, опомнившись, хватается за спасительный высокомерно-начальственный тон:

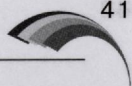
— Нет уж, избавьте! Дразги свои разбирайте сами! — и величественно проплывает в помещение.

Как только она скрывается за дверью, Нюрка деловито сплевывает и бросает рукоятку:

— Ну, б..., буду я с этой пилой уродоваться! Ищите кого попроще!

И тут появляется ангел-спаситель в лице шофера Гриши. На ходу расстегивая бушлатик, он осведомляется:

— Вроде бы я вовремя? Как обещал, Нюрочка, как обещал. Мое слово — кремень. До кровавых мозолей еще не дошло? Что — пилу заело? Такой пилой, милые мои, только Гитлеру шею пилить.



— Такой пилой, да с такой кралей, — не преминула ворчливо вернуть Нюрка.

— Ну, уж ты, Нюрочка, надо думать, и сама справилась бы, — непонятно откликнулся парень.

Повернул кепку козырьком назад, забил клин — пилу отпустило. Сказал Тасе:

— Берись за ручку, тяни на себя до отказа. Все. Теперь не налегай, отпусти — уступи мне. Моя очередь. Не бросай, нет, а чуть только держи. А теперь тяни — теперь я тебе уступаю. Вот и всё. Всегда надо друг дружке вовремя уступать — и все будет хорошо.

— Тебе бы, Гришенька, к нам в ясельки — няней, а то воспитательницей, — поет Нюрка.

— А что — это идея! Махнемся, Нюрочка? Ты за баранку, я — за пеленки, лады? — добродушно соглашается Гриша и всаживает топор в вязкую древесину.

В яслях устанавливается временное затишье.

А где-то там идет война. То есть, как это — где-то? Она повсюду, по всей стране — только здесь не бомбят, и не слышно выстрелов по ночам. Здесь она молчаливая — только изредка всплеснется криком над похоронкой. И когда она кончится?

В обед прибежала «баушкина» Вера — плачет, захлебывается: муж тяжело ранен, в госпитале лежит, в Ташкенте. А Баба-яга ей: «Дура, радоваться надо! Теперь уже не убьют — пока вылечится, может, и война кончится». А сама, только Вера ушла, закрылась на кухне — не сунься к ней! — и ревмя ревет. Радуетя, стало быть!

Обычно Евгения Михайловна приходит с наряда и прямо цветет вся. Для нее наряд — что вечеринка, повод себя показать. Даже когда она для порядка отчитывает Тасю за какую-нибудь погрешность или дает распоряжения на следующий день, по лицу ее нет-нет да и проскользнет забытая довольная улыбка. Но на этот раз что-то не так. Папироса крошится и гаснет, спички ломаются. Губы на побледневшем лице растерянно истончились: кажется, она забыла про свой вицмундир — начальственную отчужденность, потому что вдруг говорит Тасе «ты», как раньше, на нарах:

— Ты знаешь, Трейфусы, оказывается, не эвакуированные. Отец тут сидел за что-то, потом его выпустили, но в Москву он не вернулся — то ли не разрешили, то ли сам не захотел. Жена с сыном к нему приехали, и он кем-то там работал в Чистополе.

Непонятно, почему это ее так волнует. Вроде бы до сих пор дети за пределами яслей — а уж тем более их родители — ее не занимали.

— ...А потом его опять посадили. Нашлись вроде бы дополнительные обстоятельства... Ты понимаешь: тут многих опять сажают — ты понимаешь?

Холодный кипяток окатывает Тасю с ног до головы. Значит, свобода — это может быть не насовсем? Значит, какая-нибудь Елизавета Андреевна может опять что угодно на тебя написать — и опять на нары, опять за решетку? Что такое «дополнительные обстоятельства»? А вдруг кто-то будет пересматривать твое дело и придерется к тому, что госпитальная справка без печати? Конечно, если бы это дома, можно бы найти ту женщину-врача, которая тебя отправляла с ранеными. Если она жива, конечно. А вдруг убили? Ведь немцы тогда снова



заняли город... А еще, помнишь, — капитан Белый, следователь твой, удивлялся, как похожи подписи на справке и на заключении медицинской комиссии? Вдруг это тоже кому-то покажется подозрительным? Могут заново назначить освидетельствование. Хорошо, если сразу, сейчас, — а если нескоро? Если ты уже замуж выйдешь? Как ты тогда докажешь, что не было никакого немецкого офицера, который «склонил тебя к сожительству и направил в шпионскую школу»? Как ты докажешь, что все это неправда, подлая, жестокая ложь? Нет, не выйдешь ты замуж, никогда не выйдешь, и не будет у тебя своей Жанки — нельзя тебе!

Потому что получается, освобождение — это не окончательно, они могут передумать? Вон Евгения Михайловна говорит, тут многих по второму разу посадили — не только Мишиного отца. Эх, был бы тут Веня Каратаев, он бы объяснил! Где он сейчас, Веня? Жив ли? Пусть его не убьют!

...Ползет из-под дверей светелки терпкий папиросный дым. Не спит заведующая, тоже думает...

И становится трудно дышать, наваливается что-то бесформенное, безысходное... Нет, это не страх — страх можно преодолеть, а это неодолимо. Имя ему — тоска!

Холодает — как быстро холодает в этих краях! Утром Нюрка прибегает в телогрейке и теплом платке, румяная, зеленоглазая. У Таси нет телогрейки, а в пальто — ни пилить, ни колоть, просто беда. А так, в одной кофтеночке — ох как прохватывает холодком!

Подтопка заглатывает метровые плахи; пламя, просыпаясь, вскидывается, озаряет печное нутро всеми оттенками тепла, лижет кору и плоть поленьев. Дверцы у подтопки нет — и почему они дверцы не делают? Детишки, которых приносят пораньше, грудятся перед огнем, протягивают к нему озябшие ручонки.

Детей в ясли приносят все меньше: целый день топить — дров не напасешься, а пристройка-то в одну тесину сложена, тепла не держит. Но паек райздоровский — дело святое: кого не приносят, тем матери или детвора постарше берут харчи на дом. Баба-яга, наливая в кружечку молоко или шлепая кашу в кастрюльку, строго напутствует: «Гляди, по дороге не отхлебывай, а то мать скажет, мало бабка налила!»

Посланец уходит, бережно унося завтрак или обед, а бабка смотрит вслед, качая головой: не утерпит ведь, оголец!

Детей меньше — и работы вроде меньше, но от холодной воды ломит руки и кожа на них становится шершлая, как наждак. А Гриша-шофер (он иногда забегает из кузницы девчонкам помочь) — Гриша называет их «рученьки»: «Озябли рученьки? Дай — погрею...»

Забегит, побалагурит с Нюркой — с Тасей вроде бы не говорит, — но Нюрка, поджимая губы узенькой полосочкой, роняет после его ухода:

— К тебе бегат, Гришка-то!

— Да ну там, — отшучивается Тася, — скажешь тоже!

Но хочется верить, что это и вправду так — а кому бы не хотелось?

Говорят, есть такое всесоюзное розыскное бюро в городе Бугуруслане. Там все обо всех знают — кто где находится. Туда посылают запросы об эвакуированных. Бывает, находят своих. Некоторые. Где этот Бугуруслан, в какой обла-

сти? Ну, на почте, наверное, знают: туда ведь многие пишут... Вдруг мамин эшелон не разбомбили? Может, это другой какой-то, а мамин как раз проскочил? А то, может, какие-то вагоны разбомбили, а один уцелел, — а может, даже несколько? Может, как раз мамин?

Надо попросить, кто в Чистополе будет, чтоб марки купили. И бумаги почтовой. Вот Евгения Михайловна в райздрав поедет, ее попросить. Конвертов, кажется, нет сейчас, а такие листочки с картинкой. Их в треугольник сворачивают: солдатские и на полевую почту без марки идут, а гражданские с маркой. В Бугуруслан, конечно, с маркой — шутка сказать, сколько народу туда пишет. Евгения — та точно уже писала, только не говорит — она скрытная. Она и домой, в Харьков, писала — у нее ведь там дочь и мать, а ты кому напишешь? Соседям разве что — «на деревню дедушке»? Нет, в Бугуруслан, в Бугуруслан!.. Название-то какое — вроде былинное...

Вдруг мама жива? А вдруг сестра найдется?

Написать, дождаться ответа, а там — в военкомат...

Интересно, где Зина и Зинаида Борисовна? Выпустили их, как тебя, «за отсутствием состава преступления» или держат еще в чистопольском СИЗО? А может, осудили? Это же так трудно — доказать свою невиновность, если нет за тобой конкретного обвинения, которое можно опровергнуть конкретными доказательствами! Если осудили, так Зина, наверное, уже на фронте.

Эх, отпроситься бы в Чистополь, сходить в военкомат — так не пустит заведующая! Кто-то же должен ночью ясли сторожить, а сама Евгения больше тут не ночует — больно холодно. Она теперь в итээрзовском бараке, с одной ленинградкой живет: там место освободилось, москвичка одна уехала. А уедет ленинградка — у нее вообще отдельная комната будет. Может, тебя к себе возьмет? Нет, не возьмет — ты что, забыла первую ночь в кормхозе? Сказано — «дурень думкою багаті».

А Дьячков думал, она тебе другом будет... Где он теперь, Дьячков? Поговорить бы с ним! Не догадалась — да что там не догадалась! — не решилась попросить у него адрес. Написать бы, посоветоваться — кто у тебя, кроме него, остался? Если бы не он, так бы и кончила жизнь там, на нарах — погасла бы, как огарочек... Ах, доктор, доктор, родная душа... Но есть же, наверное, в конце концов, адресный стол в Чистополе? Конечно, есть!..

...Какой тут шалый ветер! Кажется, он сам никак не решит, куда ему дуть: то слева задует, то справа, то подгоняет в спину, то хлещет в лицо... Наверное, это и есть то, что называют «розой ветров»? Ох, не умничай, Анастасия!

Стук в окно, алый огонек сигарки за темным стеклом, легкие шаги.

— Вот — шел из кузницы, гляжу — светится. Сидишь тут с Жанкой — не скучно одним? Можно, и я с вами посижу? Все веселее будет! Я ненадолго — пока мать за нею придет.

Жанка, сопя, выпрастывает ручонку.

— А что ты ее на кровать не положишь — устала ведь за день-то?

— Положить — так она раскрывается. Озябнет. Холодно ведь.

Конечно, на руках ей теплее — да ведь и тебе теплей на душе, когда у сердца этот теплый комочек. Но Гриша принимает твою полуправду и, расстегнув телогрейку, протягивает ладони:

— Давай я подержу. Отдохни чуток. Надо же и мне тренироваться: может, и у меня когда-нибудь такая будет!

— Она к тебе не пойдет, от тебя табаком пахнет.

Но Жанка доверчиво гукает, качнувшись навстречу его улыбке.

— Вот видишь — а ты говоришь! Еще какая из меня мамка получится!

Больно толкается мысль: не такая, как моя!

Словно подслушав, Гриша тихо говорит:

— Как у меня была...

Тася замирает, внутренне сжимается, вспоминая Нюркины слова: «Спецдетдомовский он»...

— Я ее ласковой помню, веселой.. Светлая такая, петь любила... И звали ее Асей — почти как тебя. Никому не рассказывал, тебе расскажу. Отца я смутно помню — редко видел. Большой такой был, сильный. Работал очень много — каким-то, наверно, начальником. Иногда, по-моему, машина за ним приезжала, и мама с ним куда-то ездила. Меня тогда к бабушке отвозили, на дачу — а может, в деревню, не знаю. Когда их взяли, я как раз у бабушки был.

Ждали мы их в выходной; бабушка меня нарядила в белые штанишки, рубашечку вышитую — а я весь ягодами перепачкался. Бабушка расстроилась, а я себе думаю: хорошо бы они не приехали сегодня! Завтра бабушка все отстирает, и все забудется! Не приехали. Я еще, засыпая, порадовался: ну, вот и обошлось! Завтра бабушка все отстирает, и мама не рассердится.

А назавтра приехала тетя Валя, сестра папина. Они с бабушкой в кухне заперлись, о чем-то долго говорили, вышли обе заплаканные; тетя Валя бабушку какими-то каплями поила пахучими.

Мне сказали, что папа с мамой надолго уехали, так что я пока у тети Вали поживу. Потом собрали все мои вещички, и тетя Валя меня забрала. Только я у нее недолго прожил: как-то раз она ушла на работу — и не вернулась. А меня забрали в детприемник, а оттуда — в детдом.

Фамилию дали новую: детдом был в Казани, и стал я Казанцевым. Только отчество оставили — Сергеевич: папу Сережей звали. Нас там человек шесть было Казанцевых — все такие, как я.

Вот с тех пор я о родителях ничего не знаю. Так и вырос Казанцевым. В школе с Петькой Колбасовым сдружился, он меня как-то домой к себе зазвал, с отцом познакомил — с дядей Ваней. Ну, а тот, видно, Александру Сергеичу обо мне рассказал. Сергеич в ту пору директором мясокомбината был — его из Москвы на укрепление прислали. Дядя Ваня директора на бричке возил — машины-то у комбината не было. А когда Сергеича сюда перебросили, кормхоз поднимать, он дядю Ваню с собой прихватил — ценил, стало быть. А мне предложил: «Ну что, полутезка, на курсы механизаторов пойдешь? Выучишься — возьму к себе, мне шофер нужен». Я, конечно, согласился — вот и живу тут теперь, работаю. Они оба ко мне по-хорошему, как к родному. Александр Сергеич не хочет меня в армию отпускать: мы, говорит, тебе бронь оформим, ты мне нужен — тем более, непьющий. А я все равно пойду: стыдно на печи сидеть, когда другие воюют.

Помолчал, покачал чему-то головой, прижал к щеке Жанкину ручонку, поднял грустные глаза:

— Помнишь, ты тогда спросила, чей я, — а я ответил «ничей»? Оба мы с тобой тут ничьи, ладушка моя...



Так защемило вдруг горячо и больно: никогда в жизни не слыхала этого слова! То есть знала, что есть такое, но никто тебе его не говорил: л а д у ш к а м о я!

Лязгает в сенях шеколда, шаркают о тряпку чуни: Ольга.

— Ты смотри, какая у нас нянечка объявилась! Ты что тут делаешь, Гришаня?

— Как что? Тебя жду. Надо же тебе Жанку домой донести — или как?

Ну вот, опять — сразу же другим стал: снова легковесный балагур — только глаза, как всегда, медлят улыбнуться.

— Ишь ты, какой рыцарь! Подумать только! Ну, айда, коли так! Тогда уже дома мою маленькую покормлю.

Жанка, гукнув, качнулась прощально и снова отпрянула. До завтра, маленькая!

Постояла на пороге, поглядела им вслед — никто не обернулся.

«Оба мы тут ничьи». Так-то вот...

Заболела Жанка: воспаление легких. Из города на директорской бричке приехала врачиха — красивая, глазастая, с гордой каштановой косой. Привезла лекарства — ведь до аптеки четырнадцать километров! И Тасю прикомандировали к Ольге домой: в яслях холодно, а у Ольги квартальный отчет — вся бухгалтерия днюет и ночует в конторе. Детей-то в ясли почти не носят — Нюрка и одна управится, а еду Баба-яга запросто сама раздаст. Вот и воркуют вдвоем Жанка с Тасей, то горестно, то радостно, и прирастают друг к дружке, как сиамские близнецы.

Все-все поверяет Тася этой крохе: все свои боли, все надежды. Слушает маленькая — внимательно, сочувственно, но хрупкое тельце палит багровый жар и сотрясает жестокий кашель. У Ольги в комнате тоже не тропики: когда меняешь пеленки, от них клубами валит пар, но Тасю колотит не столько от холода, сколько от страха — не простудить бы еще больше!

Прижав драгоценный сверток к груди, она качается, как китайский болванчик, — может, так теплее? — и мурлыкает бесконечную колыбельную. Откуда-то, из самой глубины сознания, всплывает то, что звучало когда-то над ней самой. Мама ли пела, или кто-то другой, кто ее, ненужную маме, пожалел?..

Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай...

Ходит бай по стене, охти мне, охти мне...

А я Жанночку мою баю старому отдам.

Ходит бай по стене, охти мне, охти мне...

И откуда слова такие взялись, что за бай такой — от татарского ига еще, что ли?

...Котя, котя, коток, котя-серенький хвосток!

Ходи, котя, ночевать, нашу Жанночку качать...

Странно, а отчего тут ни у кого кошек нет? Или просто на глаза тебе не попадались?

Жанка спит, и самой уже дремлет, но нельзя — скоро Ольга придет, наверное. Обе Ольги придут — большая и маленькая. Плохо без часов — который сейчас час может быть? Нюрка и Баба-яга давно уже дома, подтопка в яслях давно уже выстыла — ой, как холодно сейчас в яслях! Зато Тася знает: как только она сбежит с Ольгиного крыльца, навстречу ей от Дусиной рябины отделится высокая темная фигура с алым огоньком сигарки — Гриша.

— Как ты знал, когда я выйду?

— А я у конторы ждал: раз там работу кончили, Ольга домой — значит, и ты скоро выйдешь.

Ветрено. Да, оба они здесь ничьи — вот и прибивают их друг к другу шальные чистопольские ветры. Жаль, коротка дорога. Пригорок, увал, и еще пригорок — вот и все, а расставаться не хочется... Прощаются они перед баней: ясельное крылечко продувается со всех сторон, а здесь Тасю защищают, загораживают от ветра темный бревенчатый сруб и широкая Гришина спина — словно возникает между ними какая-то хрупкая аура бережно охраняемого тепла.

— Знаешь, что я заметил? У меня для тебя слова совсем другие. Откуда они только берутся? Вроде бы я больше никому таких слов не говорю.

Как будто оживает, смелея, их смятое, искалеченное, застенчивое детство. Тепло и покойно озябшим Тасиным пальчикам в больших, горячих Гришиных ладонях, и кажется — доброе это тепло смывает, уносит грязь этапных дорог, вонь параша, циничную грубость допросов. Наверное, Гриша знает, что в корм-хоз Тася пришла из чистопольской тюрьмы, — а может, и не знает. Какая разница? Об этом они не говорят.

Когда-то в госпитале — еще в той, ч и с т о й жизни, довелось Тасе услышать от раненого белоруса удивительное слово: ц я п е л ь ц е. Вроде бы т е п е л ь ц е — маленькое, доброе тепло, огонек, костерок вроде, так его Тася поняла. Видно, добрый народ белорусы, раз у них такие слова есть. Вот ведь огонек, костерок — он и обогреть, и обжечь может, а ц я п е л ь ц е — нет, оно только ласковое, оно быть жестоким не может. И теперь у тебя, Тася, два тепельца: Жанка и Гриша. А о том, что это ненадолго — Гриша на фронт уйдет, Жанку увезет с собой Ольга — об этом лучше не думать. Не надо думать. Спасибо, что они есть...

— Послушай, я ведь правильно сделал, что от брони отказался?

А разве ты мог поступить иначе? Спецдетдомовец, сын врагов народа — разве ты мог? Ты ведь не просто Родину — ты память родителей своих, честь фамилии, которой тебя лишили, защищать идешь — разве ты мог бы иначе?

Где сейчас Зина? Может, на фронте уже?..

И снова вечер. Почему от керосиновой лампы кольцо на потолке двойное — два кольца, одно в другом? Наверное, это всегда так бывает, только раньше не замечала — или некогда было подумать. А тут, за эти вечера с Жанкой, столько всего передумашь... Что там в Харькове сейчас? Кто живет в вашем доме? Кто из прежних жильцов остался жив? Ждет ли тебя твой дом? А может быть, и дома уже нет — ведь столько бомбили, такие шли бои... А может быть, в твоей комнате живут другие, чужие люди, и кто-то играет на папином стареньком пианино, кто-то листает папины книги — или они давно пошли на топку? Говорят, чтобы вернуться, нужен специальный пропуск? Дадут ли его тебе? Или возвращаться больше некуда?

Ходят слухи, что в округе появились волки — невиданные какие-то, гривастые. В Кроликах какую-то животину загрызли. Тетя Таня, конторская уборщица, ночью вой слышала. Интересно, отчего волки воют? От одиночества, что ли? А может волку быть одиноко? Наверное, может — от этого никто не застрахован. Или это он предупреждает: берегитесь — «иду на вы!»?

Вот еще, чепуха какая! Тебе и самой, бывает, завять хочется!

Шаги на крыльце. Ольга? Так вроде бы рано еще. И стук. Чего бы это ей стучать себе домой? Звякает щеколда — и сердце екает: на пороге Гриша. Случилось что? Ведь раньше никогда сюда не заходил!

— Меня Ольга послала. Телеграмма пришла: послезавтра мне и Асяту Миндубаеву в Чистополь, на призывной пункт. С вещами.

Вот оно. Вот оно и подкрадывается, волчье одиночество. Ты и не думала, что так скоро.

— Когда поедешь?

— В понедельник утром. Дядя Ваня сказал, сам повезет.

Тася чувствует, как начинает сжиматься, укорачиваться оставшееся им время, но слова почему-то все, как на грех, улетучиваются, только в висках неумолимо стучит беспощадный маятник. Ну что ж — ты ведь сама одобрила его решение.

— Но ведь все правильно — так надо, верно ведь?

Тася молча кивает — пусть он говорит, пусть сам — пока она соберется с духом.

— Я хочу тебе сказать — только ты выслушай, не перебивай: ты для меня все. Мне кроме тебя никто не нужен. Дядя Ваня говорит, вернешься с войны — Валентину за тебя отдам. Она хорошая, Валюшка, как сестра мне, — они мне все родные, вся семья — только все это не то. Ты моя семья, мой свет, ласточка моя смуглая, ладошка моя! Я вот еду один, кручу баранку — а сам с тобой разговариваю... Какие слова говорю — никому таких не говорил, вроде бы и не знал их раньше! Провожая тебя, руки тебе грею, рученьки твои, пальчики твои ледяные — а самого жаром обдает. Это ты меня греешь, солнце мое! Я ведь ничего не прошу, мне ничего не надо — только руки свои не отнимай, только позволь мне знать, что ты у меня есть! Меня тогда ни за что не убьют, я обязательно вернусь, разыщу тебя, где бы ты ни была. Ты не спеши отвечать — я знаю, я еще тебя не стою, но я обязательно дотянусь! Чему угодно выучусь, кем захочешь, стану — ты еще будешь мной гордиться!

...Быстрые шаги на крыльце, клубы холодного воздуха, прынувшие от дверей. Ольга обводит взглядом взволнованные лица, подталкивает Тасю к порогу.

Они выходят на ветер — и навстречу им из дальнего барака выплескиваются пьяные голоса: «На позицию девушка провожала бойца...»

— Провожают, — роняет Гриша. — У Асята гуляют...

А Тасе слышится: «Мы оба с тобой ничьи...»

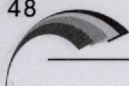
Гриша бережно обнимает ее за плечи, наклоняясь, заслоняет от ветра, заглядывает в глаза:

— Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Я ведь не прошу, чтобы ты обещала, что выйдешь за меня, что будешь моей женой, если я вернусь. Я понимаю: война — дорога долгая, всякое может случиться. Встретишь кого другого, полюбишь, может... Все понимаю — а верить не хочу. Скажи мне что-нибудь, чтобы мне в дороге светило, чтобы там, на войне, я думать мог: у меня есть Тася, мне ни погибнуть, ни замарать себя нельзя...

Хлесткий ветер доносит издалека, с горстью снега швыряет в лицо отчаянную, навзрыд, девичью частушку:

Ох, не знаю, ох, не знаю,

Как я дальше буду жить:



Мой залетка уезжает
В Красну Армию служить!..

Хмельной тенорок — Асята, что ли? — откликается:

Уезжаю, уезжаю,
Уезжаю воевать.
Обещай мое колечко
Никому не отдавать!..
Обещай!

А Тася оглушенно молчит. Ну как рассказать ему про свой темный страх, про отца Миши Трейфуса, про то, какие вопросы задавал тебе следователь, и как объяснить, что, если бы не медицинская экспертиза, не единственная строчка ее заключения, ты, может быть, еще и сейчас валялась бы на нарах чистопольского СИЗО без обвинения и без оправдания.

От чего только может зависеть судьба человеческая — сама жизнь, наконец!

— Гриша, — выдавливая она с трудом, — я замуж никогда не выйду. Ни за тебя, ни за кого другого. Ты хороший, ты себе другую найдешь. А я не могу. Мне нельзя.

— Ладушка, да ты что? Как это — нельзя? Больна ты, что ли, чем? Так я вылечу тебя, на руках тебя буду носить, как Жанку, — только будь со мной! Ты же звездочка моя, радость моя! Ну посмотри мне в глаза!

Как в них смотреть, в эти чистые, отчаянные глаза! Горячие губы касаются застывших пальцев, мягкая щетинка покалывает кожу...

— Прости, Гриша. Никогда.

Медленно-медленно он поднимает голову, с минуту смотрит молча, не отпуская рук, потом — Господи! — рывком поворачивается и бросается прочь. В темноте не разглядеть, то ли за голову схватился, то ли просто шапку придерживает. Под ногами, удаляясь, стихая, хрустит молодой снежок...

...Ягодиночка, кровиночка,
Как дальше будем жить?..

Вот и погасло твое тепельце, Тася. Сама его задула, сама погасила... Сама.

В воскресенье Евгения Михайловна затеяла инвентаризацию. Оно, конечно, выходной день — но в понедельник ей в райздрав с отчетом, а тут оказия подвернулась: дядя Ваня Колбасов с утра призывников повезет — не надо будет у Александра Сергеича лишний раз лошадь просить.

Столы, скамейки, кровати, подушки, матрасы, простынки, пеленки, наволочки — что там еще? Завтра Гриша уедет, навсегда уйдет из твоей жизни. Не просто уйдет, не куда-нибудь — на войну. С тяжелым сердцем уйдет. Что ты, Тася, наделала!

В обед прибежала Нюрка. Заведующая позволила ей не приходить, так ведь «баушка» по случаю аврала приготовила «по-семейному» — отчего же не подхарчиться, коли Бог послал? А главное, ее распирает новость — да какая!

Заглянула сейчас к тетке на молокоферму — сливочек из-под сепаратора хлебнуть, а там Верка Конева. Хвалится: наемни у Миндубаевых до утра гуля-



ли. Гришка Казанцев черный пришел как туча. Поднесли ему самогонки — он почитай сразу захмелел. Непьющий ведь, с непривычки — да и не емши, видать. Смехота — плачет, мне, говорит, теперь одна дорога! Да ведь и Асяту туда же — а ты сам напросился! А я, говорит, не про то, я на фронт и сейчас не отказываюсь, только жизнь моя теперь кончена. Стакан со стола смахнул, разбился стакан. Он стекла с полу собирает — гляди, говорит, Вера: это жизнь моя! Ну, Верка видит — развезло его; взяла и к себе увела. Интересно, вишь, ей: Гришка-то навроде один у нас такой — нецелованный! Только интересу никакого не вышло. Привела она его, налила еще для бодрости — а он выпил, свалился и уснул. А у Верки в окурат ночью краски пошли, дак она не убереглась во сне и простынь маленько замарала, а утром проснулась, увидела — и чего, шалава, удумала: Гришке сонному исподнее кровьями вымарала, а потом разбудила его.

Гляди, говорит, Гриша, чего ты наделал: я тебя пожалела, к себе привела, а ты, пьяный, меня насильничал! Я ить девушка честная, сам видишь — кровинки-то сколь! С Гришки и сон, и хмель как ветром сдуло. Побелел весь, на колени бухнулся: прости, говорит, Вера! Прости, Христа ради! Я ж не хотел, у меня и в мыслях не было. Честное слово, не знаю, как это случилось!.. Я ж ни с кем еще — веришь, ни с кем... А потом схватил шапку и убежал незнамо куда.

— А ты-то, Нюрка, чему радуешься? — шуруется Баба-яга.

— Да как же, баушка, смеху-то! Верка его на десять лет старше, два аборта от летчиков делала...

— И все-то ты знаешь! Молодая, да ранняя.

— А я себя, баушка, блюду.

— Ну-ну, — качает головой повариха...

Обосав новость, как перышко таранки, Нюрка хихикая убегает. Пересчет ненадолго возобновляется; потом, завернув для тепла в полотенецко кастрюльку с оладушками — к вечернему чаю! — уходит Евгения Михайловна, за ней Баба-яга, и Тася остается одна со своими мыслями...

Где сейчас Гриша, что делает в последний этот вечер? Казнит себя, наверное. Ведь не признается Верка, что подшутила над ним, — ни за что не признается! И у тебя не хватит духу разыскать его — как говорить о таком? Эх, Тася, Тася...

...Ягодиночка, кровиночка,
Как дальше будем жить?..

А наутро выпал густой, пушистый снег, замел протоптанные с вечера тропки, замел дорогу в Чистополь — последний Гришин след в непутевой Тасиной жизни. Белый, холодный, веселый снег...

Нет, недолго лежать здесь снегу тихим и пушистым: налетят хлопотливые, работающие ветры, возьмутся с посвистом выстилать его да наглаживать — и он изменится: из мягкого и доброго станет резким и обманчивым; где — на морозном солнце — покроется хрупким стеклянным настом, где — уплотнится то матовым, то зернисто-сверкающим свеем. Тут, в белом мороке, недолго и заблудиться: по твердому свею кажется, что ступаешь по гладко накатанной дороге, а шагнешь в сторону — и провалишься по колено. Одни только вихрастые вешки — шесты с пучками соломы — вырывают коня и путника, указывают им верный путь.

Ветер треплет солому, разносит, разбрасывает по снегу. Интересно, кто эти вешки подновляет? Ведь должен же кто-то их подновлять — а то беда! Говорят,

бывало, и в Кроликах, и в Белых Горах заплутавших находили только по весне, когда стает, сойдет снег...

Где, по каким дорогам шагают сейчас солдатские валенки? Слава Богу, теперь на Запад и только на Запад ползут и катятся упрямые фронты. Знать бы, куда занесут Гришу военные ветры! Когда, по какой цели случится ему сделать первый выстрел? Трудно — совсем невозможно представить эти мохнатые, добрые глаза в снайперском прищуре...

Вот ты любила оружие — разбирать и собирать на скорость в стрелковом кружке затвор винтовки (стебель, гребень, рукоятка, курок с пуговицей), ловить цель в рамке прицела, затаив дыхание, нажимать спусковой крючок мелкашки — хотя с твоим орлиным зрением попасть в десятку надежды было мало.

Но там стреляли по мишеням, по бутылкам — а вот по человеку ты могла бы? Может, и смогла бы — по фашисту... Вот только бы не видеть его лица. А Гриша — сумеет ли?..

Ну что ты все о нем да о нем! А как же та, твоя детская, школьная любовь? Отошла в тень? Ты же верила, что настоящая — она бывает только раз в жизни. Или то была не настоящая? Может, ты ее придумала? Ведь тот, далекий, он даже не знал, как сладко замирало у тебя сердце, когда вам случалось столкнуться в школьном коридоре. А может, она просто осталась в той, другой, чистой жизни, где не было ни параша, ни вертухаев, ни статьи 58, 1 «а» — в той, прежней Таси больше нет? И возврата в ту, прежнюю жизнь больше нет, как нет тебе места среди людей не замаранных...

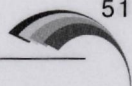
А Гриша, наверное, потому и качнулся к тебе, что оба вы тут изгои, оба без вины виноватые. Ты же помнишь: «Оба мы тут ничьи»... Это вас и породнило — а теперь... С каким чувством он уехал! Он думает, что тебя предал — а это ты его предала.

Будет ли он писать кому-нибудь? Верке? Может, дяде Ване Колбасову? А вдруг его в первом же бою убьют — как тебе тогда жить с такой виной? Что ты наделала, Тася!

Холодно стало в яслях — ох, как холодно стало ночевать! Детей уже не приносят, а раз так, не привозят и дров. Зарплата от райздрава, однако, идет, и ты на работе. Нюрка, как сказано, пригелась на молочной ферме, Евгения Михайловна вершит какие-то дела в конторе, а ты, Тася, то с Жанкой у Ольги, то в бухгалтерии что-то считаешь — неведомо что, благо что грамотная. Днем еще ладно, в тепле — а вот ночью... Хорошо если попадется щепка или пучок соломы ветром принесет — хоть что-нибудь, что может гореть. Тогда есть надежда в подтопке хоть кружку воды нагреть — не вскипятить, но хоть горячей напиться. А потом зарыться в соломенные коротенькие матрасики и так продрожать до утра.

Раз в месяц в кормхозе топят баню. Баня здесь — не просто гигиеническая процедура, это событие; баня, если хотите, — это праздник, особенно для Таси.

Во-первых, в банные дни сюда завозят дрова — много дров, так что стащить пару чурбаков и спрятать впрок за шкаф, под топчан — это уже просто дело техники, и греха в этом нет. Во-вторых, в чугунный котел, стоящий в яслях, привозят бочку воды, так что в эти дни Тасе не надо таскать воду для своих нужд от колодца на пригорок. И наконец самое главное: когда топится баня,



яслях почти тепло! Во всяком случае, вода в котле не замерзает — ну разве что тонкой корочкой к утру возьмется. А то и вовсе нет.

Руководить банной церемонией из Чистополя приезжает фельдшер райсанстанции — необузданного вида огромная бабища с медно-красным, темным лицом и тяжелой смоляной косой. Волосы у нее прямые и даже на вид жесткие; толстенную, с руку толщиной, косищу она закручивает на затылке в тугий узел, так что кажется, словно сзади, под платком, у нее прячется вторая голова. Тася про себя зовет ее «мустангой», хотя еще неизвестно, на кого она больше похожа — на дикую, необъезженную кобылицу или на грозного вождя краснокожих. И голос у нее под стать — трубный, раскатистый, и движения резкие и решительные, и вообще среди мелкого кормхозовского люда она — как Гулливер среди лилипутов.

Но для Таси каждый ее приезд такая радость! В бараке Мустанга ночевать не хочет — боится заразы, и Тася принимает ее как самую дорогую гостью. И вот ведь что удивительно: вроде бы ничего у них общего нет — а вот поди ж ты! И не только потому, что, пока топится баня, теплый ночлег тебе обеспечен...

Вообще никак нельзя привыкнуть к тому, как они тут банятся. Моются бабы и мужики по очереди; очередность устанавливает строгая Мустанга, но и те, и другие выскакивают из бани нагишом, красные, распаренные, босые, зачерпывают шайками снег, а то и вовсе с хохотом и визгом ныряют в сугроб. И ни холод, ни чужие взгляды их не останавливают: у здешней бани свои законы! Нет, Тася на такие подвиги не способна, как не способна и выдержать каленый пар на полке, где женщины зачем-то немилосердно хлещут друг друга березовыми вениками. И главное — чем сильнее тебя хлещут, тем больше вроде бы удовольствие! Вот уж, как говаривала в камере тихая святоша Людмила, «неисповедимы пути Господни!». А вот чему Тася тут действительно научилась, так это мыть голову спущенным из золы щелоком и кислым молоком. Волосы у нее теперь после доброй бани сияют и скрипят: косы здесь у всех отменно хороши!

Мустанга говорит, вшей в бараках немерено, поэтому одновременно с баней топится специальная калилка, или вошебойка: вся одёжа — кроме разве что овчинных кожухов да шапок — калится там, пока народ моется. Милое дело, говорит Мустанга: тут тебе и дезинфекция, и дезинсекция, и целая стена в яслях нагревается до горячего — красота!

Как-то раз тетка Дарья Семкина — Даша-патяй озабоченно спросила Тасю: — Слушай, Анастасия, а правду говорят, что тебя вша не ест, даже головная?

И, ждительно перебрав Тасины, скрипучие после бани, волосы, удрученно сказала:

— И правда нету. Видать, не жилец ты, Анастасия. Человек, бают, без вши не живет — помрешь, надо быть, скоро.

Такие вот дела.

К ночи, когда стихает банный галдеж, Тася с Мустангой убирают в бане, собирают казенные шайки, чтобы, не дай бог, не растащили (на каждый помыв их выдают Мустанге со склада под расписку), чистенько выметают вошебойку, втаскивают туда по паре соломенных матрасиков и устраивают себе царское ложе. Железная сетка — дно вошебойки — пружинит, как настоящая кровать, — и ах как хорошо вытянуться после суматошного дня!



Милосердная усталость уже не допускает к тебе всегдашние трудные мысли. Усталость сил только и хватает на то, чтобы обменяться с Мустангой парой медленных сонных слов — и тебя уже нет. Ничего нет. Сон.

К утру калилка выстывает, но не совсем, не до настоящего холода. Мустанга поднимается растапливать, а Тася, наскоро зачерпнув воды из чана, плещет прохладные пригоршни на сонное лицо и бежит в контору: в сильные морозы когда детей в ясли не приносят, ее рабочее место там.

Поначалу она никак не могла понять, почему, если накладные и ведомости расходятся на какую-то несчастную копейку, всех лихорадит и вся бухгалтерия допоздна мучительно потеет над проводками. Разве не легче эту копейку доложить из своих или, наоборот, отнять? Оказывается — нет, нельзя. Оказывается, если расхождение большое, ошибку найти легче, а проклятая копейка держит всех до двенадцати ночи. Понемногу, однако, Тася привыкла: порой ей даже казалось, что, если абстрагироваться от реального, материального содержания цифр — от всех этих рублей, килограммов и литров, в них даже можно обнаружить своеобразную красоту, какой-то загадочный ритм или симметрию.

Впрочем, это все, наверное, от усталости — а так Тася считала хорошо и быстро, ее результаты можно было не перепроверять; поэтому главный бухгалтер, придирчивая и крутая Вера Александровна, решительно закрепила ее в бухгалтерией на время годового отчета. Правда, от обязанностей ночного сторожа это ее не освобождало.

Но кончаются банные дни, Мустанга уезжает. Еще на несколько вечеров хватает припрятанных поленьев — не так, чтобы натопить, а чтобы хоть чуточку перед сном отогреть пальцы и душу кружкой горячей воды. Сооружать постель из колючих, набитых соломой коротеньких матрасиков на узеньком топчанчике у издыхающей подтопки — дело нелегкое. Матрасики не гнутся, не уминаются, Тася громоздит их на топчане, пытается соорудить некое подобие яранги, но они налезают друг на друга и расползаются, как льдины в ледоход и холод неумолимо сквозит в расселины. Правда, есть еще пальто — Тася испробовала разные варианты: пыталась спать в нем, укрываться им, прежде чем навалить на себя матрацы; наконец была попытка класть его поверх матрацев, чтобы не рассыпались. Трудно сказать, что было хуже.

Однажды ей удалось стащить в кузнице большое полено — ничего, им завезут, кузница без дров не будет! — и растопить почти по-настоящему. Но, хоть совесть ее особенно не терзала, Бог все-таки покарал ее за воровство: стараясь не упустить драгоценного тепла, она примостилась у самого огня и, угревшись, сама не заметила, как задремала. Очнувшись от едкого дыма, когда пола пальто уже занялась. Как раз правая — та, что сверху. Так потом и пришлось ходить с рыжей горелой дырой. Правда, Вера Ивановна, главный бухгалтер, пообещала, что, когда они закончат годовой отчет, ей, возможно, выдадут телогрейку. Тогда из пальто можно будет сшить теплую юбку! Правда, пока еще они корпят над квартальным

Однажды, проработав день в бухгалтерии, Тасе удалось сэкономить дневную пайку хлеба (вместе со счетоводами ее там милостиво накормили супом). Оптимистическое утверждение, что Бог даст день, даст и пищу, жизнь давни



уже опровергла — поэтому Тася решила приберечь пайку на завтра и от соблазна спрятала ее в шкаф, у изголовья.

Ах, как хорошо было засыпать с сознанием, что тут, совсем рядышком, до утра будет лежать драгоценная горбушка! И вдруг ночью Тася очнулась от короткого страшного сна: кто-то с визгом дергал ее за волосы. Явь оказалась еще страшнее: привлеченная запахом хлеба крыса, избрав кратчайший путь — через топчан, запуталась в Тасиной косе!

Неизвестно, кто из двоих испугался больше. Дрожа от ужаса, холода и омерзения, Тася последними спичками зажгла каганец — тут уже было не до сна!

А когда холод стал совсем нестерпимым, ей — стыдно вспомнить! — пришла в голову и вовсе дикая идея. После вечерней дойки она прокралась в коровник: в коровнике стоял пар от дыхания и густой запах навоза. Коровы шумно вздыхали и что-то жевали во сне.

Тася выбрала одну, которая показалась ей на вид самой безобидной, и, не без робости обняв пеструху за шею, привалилась к теплому боку. Корова издавала какой-то сонный звук, но особо возражать не стала. Только спать на ней оказалось крайне неудобно: хребет у нее был зубчатый, как у аллигатора, дышала корова боками, отчего Тасю все время мерно подкидывало, а главное — засыпая, Тася разжимала руки, обнимавшие коровину шею, и, естественно, сползала вниз. Во сне ее не покидал страх: а вдруг ее застанут тут доярки? Они же рано приходят, когда еще темно, а который час — неизвестно! А если застанут — что тогда? Нет, ничего хорошего из этой затеи не вышло.

Попросить бы Сергеича... Нет, только не в пятый барак, только не в пятый!..

Близится Новый год. Говорят, как его встретишь, таким он и будет. А как ты его можешь встретить? Теплилась все время робкая надежда: вдруг к концу года придет Дьячков? Он ведь говорил, что у СИЗО тут подсобное хозяйство. Не может быть, чтобы он о них забыл: вот ведь она о нем все время вспоминает!

И ведь приехал — Господи, приехал — и о тебе спрашивал! Надя Монина говорила, заходил в контору высокий хромой военный, Евгению отыскал, а та ему сказала, что тебя с каким-то поручением услали. Почему — вот почему она не захотела, чтобы вы встретились? Может, стыдно было — ведь она ему обещала, что ты ей будешь как родная дочь? Бог ее знает, что она ему еще говорила. И ведь не сказала тебе, что приезжал, а когда ты спросила, очень недовольно ответила: «Он здесь по делу был: больше ему делать нечего, как с тобой разговоры разговаривать!»

Но ты ведь помнишь — ты помнишь, как он тебя про стихи спрашивал — тогда в санчасти, и потом, за воротами СИЗО? Он тебе поверил — он в тебе поверил! Не как в поэта, конечно, — куда тебе! — а в то, что ты человек. По-настоящему. Может, и приехал, чтобы проверить, не ошибся ли. А что теперь он думает? Может, и не думает больше... Ведь он — Доктор, он не одну тебя спасал. Это для тебя он второй, после папы, дорогой Человек — а ты для него одна из многих.

А что если Александра Сергеевича спросить — наверное, он его адрес знает? Да нет, откуда? Зачем ему адрес домашний! Они по работе связаны. А ты для Александра Сергеича просто придаток Евгении Михайловны. Так оно с самого

начала установилось, что ты сама по себе не существуешь — она с первого дня об этом позаботилась. Возможно, и он считает, что она тебя опекает, как родную дочь? А ты что — «у бога теля з'їла?»

Эх, раздавили тебя, Тася, полгода тюрьмы!

Странно: ведь если подумать, там ты была не такая, не бессловесная. Держалась ведь, не гнулась ни перед следователем, ни перед грозным «Синим костюмом», начальником следственной группы, ни перед самим начальником тюрьмы — а здесь? Казалось бы, на воле...

Нет, там ты была среди таких же, как ты, — а здесь чужая. Клейменная. Может, не все его видят, клеймо твое, — но в тебе оно все время горит: 58, 1 «а». Измена Родине. Знать бы, как слово «родина» в Уголовном кодексе пишется — с большой буквы? Ведь для тебя, в тебе — оно всегда с большой...

Вон Евгения Михайловна — та как рыба в воде! Забыла, как окурки у вертухаев клянчила! Хлопочет, прихоращивается, брови выщипывает, кофточку купила: приглашена кормхозной верхушкой — директор, главный бухгалтер, агроном... и кто там еще интеллигенция? — Новый год встречать. А ты? «Оба мы тут чужие...» Гриша, Гриша, где он сейчас? И кем для тебя был? Сама не знаешь. Может, просто вы — близнецы, сросшиеся одной судьбой? Были...

А теперь — холодно...

Сквозь замерзшие окна просачивается нестерпимо холодный лунный свет. Интересно, почему мороз всегда разрисовывает стекла листьями? Будто папоротник ледяной...

На банной половине топают, хлопают дверьми, бряцают шайками или ведрами — там сегодня стирка. Слава Богу, значит, подтопят — теплей будет, да и дров, может, удастся перехватить.

Далеко на усадьбе пиликает гармошка: верно, непросыхающий Пашка — или это приехавший на побывку Асят Сабиров терзает Пашкин инструмент?

...За окошком гармошка чеканит мотив,
И гитара звенит переборами...

По правде говоря, гитара тут не в чести — или просто нет ни у кого? Вот балалайка — это да. Но гитара как-то роднее. Пусть будет гитара:

За окошком гармошка чеканит мотив
И гитара звенит переборами;
Голубого огня искрометный разлив
На стекле застывает узорами.
То меня выкликает плутовка-луна —
И смеется, и манит, и дразнит:
Отчего ты грустишь? Отчего ты одна?
Для тебя разве праздник — не праздник?

Ну да, действительно, веселья — хоть отбавляй! Знать бы, как там дома сейчас... И есть ли он еще — дом? А школа? Помнишь елку в двухсветном школьном зале? Натертый до зеркального блеска дубовый паркет; ряженный Бабой-ягой Валентин Александрович, учитель пения, по кличке Валентон, про-

званный так потому, что не расставался с камертоном, ведет хоровод, источая восхитительный запах одеколона; твой отец, непривычно торжественный, дирижирует школьным оркестром... Все это было.

Так спрашивается, чего ты скулишь? У тебя все это было! Да, не было мамы, не было игрушек. Не было платьиц нарядных, не было коньков — но были книжки, было папино пианино, был школьный опытный участок, где вы под руководством замечательной Нины Ипполитовны выращивали всякие диковины: раскидистую, как пальма, красавицу касторку с красивым именем «рицина», нарядные розетки арахиса с застенчивыми желтенькими цветочками, которые, как страус, прятали головку в землю, чтобы там со временем превратиться в жесткие, корявые стручки с густо-розовыми бобами. Бобы можно потом слегка присолить и поджарить — до чего вкусно! А черный, как жук, Сергей Иванович, который учил вас рисовать гипсовую натуру и объяснял законы перспективы, а маленькая, уютная Зоя Николаевна, географичка, с которой вы так увлекательно путешествовали по разным странам в своем «Клубе юных капитанов»? Да мало ли хорошего было в твоей куцей жизни — а ты скисла! Нет:

Не зови, не дразни, ты ошиблась, луна, —
 На глазах твоих зорких повязка:
 Я в сегодняшний вечер совсем не одна,
 И печаль на лице — просто маска!
 Закипает весельем ликующий зал.
 Ель в сияющих радужных низках;
 За столом поднимают заздравный бокал
 За друзей — и далеких и близких...

Ну, положим, заздравных бокалов ты в жизни не поднимала, это ты только в кино видела — но ведь бывает же такое где-то? Пусть будет!

...За того, кто стоит у штурвала страны
 В зореносной кремлевской твердыне,
 Кто великую тяжесть священной войны,
 Как атлант, на плечах своих вынес.

Не вынес еще, конечно, — но ведь к тому идет! Какой путь прошагали уже от Сталинграда — разве может быть теперь какое-нибудь сомнение?

Постой, Таська, погоди! Один он ее вынес, что ли? А те ребята, тяжело топавшие по мартовскому бездорожью — кто в мокрых валенках, кто в обмотках, кто в стоптанных кирзачах, несущие на плечах, как скатку, вековечную усталость пехоты? А раненые — в гипсовой броне, стынущие в кузове грузовика на ночном морозце? А Дьячков, ковьяляющий на костылях? А Надя Мониная, ворочающая на своем трижды латанном тракторе тяжелую мужскую работу? Кто ее нес, эту великую тяжесть? Не стыдно тебе? Стыдно! Еще стыднее, чем тогда, в камере, когда ты рассказывала свой вещий сон. Ведь и тогда папа у тебя отодвинулся в тень, потому что главное место — даже во сне — должно было принадлежать Вождю. Откуда это? И строчки эти твои сейчас — они как белая блузка и шелковый галстук, наглаженные для парада, — они не на каждый день!

Вот скажи — Дьячкову ты бы их показала? Нет, не показала бы — ты и тех, непарадных, не стала ему показывать, чтобы не подумал, что они специально



написаны, чтобы произвести нужное, полезное впечатление. Но ведь и эти строчки сами пришли, не для кого-то, не напоказ — что же тебя побудило так написать? Общая привычка? Ведь и в атаку бросаются, на смерть идут со словами «За Родину! За Сталина!» Неужели, падая, они и вправду думают о немолодом усатом человеке где-то там, в Кремле? Не о матери, не о любимой, а о нем? Или в бою это просто символ — символ веры, у каждого своей?

Интересно, а что сказал бы папа, если бы прочел эти стихи? Ничего, наверное, не сказал бы — просто задумался бы... А ведь ему ты своих стихов не читала — никогда, ни разу. Только и читал, что в школьной стенгазете. Надежда Владимировна читала, Параска Костивна, Юлия Ивановна, подружки читали, а он — нет. Почему? Ждал?

Неожиданно приходит в голову, что о Нем папа с ними никогда не говорил. О стране — да, о радио, о каналах, о ХТЗ, о Госпроме, о челюскинцах, об испанских детях, которых после падения республиканской Испании усыновила твоя Родина, о книгах, о картинах, о том, как человек велик в своей малости, — а вот о Нем никогда. Почему? Потому, что у самого не сложилось цельное, — или не хотел делиться тем, что сложилось? Если бы знать, о чем еще папа не говорил...

Господи, сколько еще непонятого, недодуманного — хватит ли жизни, чтобы все понять? Был бы рядом папа, или Дьячков, или хотя бы Веня Каратаев — кто-нибудь, кто мог бы помочь, хоть что-то объяснить, подсказать — никого!.. Никого.

А стихи эти — ну, что ж, видно, так и останутся недописанными. Навсегда. Нельзя писать такое, за что потом будет стыдно.

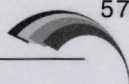
Вот он и кончился, этот тяжкий год. После того, что пришлось пережить, просто невозможно предугадать, каким будет следующий, — просто страшно об этом подумать, страшно попытаться в него заглянуть! Слава Богу, приехала Мустанга: снова топится баня, снова на той половине топают люди, звякают шайки, звучат голоса, смех и брань. Взволнованный предпраздничный шум заполняет пустоту, оттесняет тоскливые мысли. Баня будет топиться три дня — значит, Новый год ты встретишь не одна. В самом деле — ну кто поедет отвозить Мустангу в самый канун Нового года? И лошадей дядя Ваня Колбасов ни за какие коврижки не даст.

Мустанга приносит со склада праздничный паек: картошку, хрусткую квашеную капусту и — с ума сойти! — целых полкастрили черного чувашского пива. Значит, предвидится новогодний пир.

«Живем, Анастасия, — громогласно провозглашает фельдшерница, — пускай для начальства мы рылом не вышли, нам и тут хорошо!»

Голоса стихают, баня пустеет — ну да, праздник у людей... В конторе радио есть — там прозвучат куранты, «Интернационал» — а тут даже не услышишь, когда он наступит... Наверное, у директора и дома радио есть — а иначе как они услышат, когда время чокнуться?

Мустанга подгребает в банной топке золу и зарывает в нее картошку, выкладывает в миску капусту и поливает ее благоуханным постным маслом из бочек откуда взявшейся чекушки. Стола в предбаннике, естественно, нет — ну и ладно! Да собственно, это и не предбанник, а как оно называется — где топка



банного котла и вошебойки? Как ни называется, а сейчас оно — самое теплое место, и принесенная из яслей скамеечка стоит перед жаркой топкой, где пляшут веселые огоньки. Мустанга наливает в кружки темное чувашское пиво. Неизвестно, настал ли уже Новый год, — значит, первый тост — за Победу!

Пива Тася никогда не пила, но за Победу что угодно выпьешь! За Победу! «Одержим Победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне...» Оказывается, в песне у Мустанги голос совсем другой — незнакомый, мечтательный голос... Папа всегда любил низкие женские голоса — и Тася вдруг, в память о папе, запекает его любимую:

Дивлюсь я на небо — та й думку гадаю...

И Мустанга неожиданно подхватывает:

Чому я не сокіл, чому не літаю...

И Тася уже даже не спрашивает себя, откуда фельдшерница знает эту песню, — так они почему-то сроднились здесь, в этом, которое даже не знаешь как назвать.

Славно смотреть на огонь, когда за стенами холодина. Вот так они сидят и поют или молчат, каждая о своем — и свое-то у них вроде бы общее. Долго сидят, тепло и задумчиво — и, ступая неслышно, как разведчик, приходит Новый год — сорок четвертый, одна тысяча девятьсот сорок четвертый от Рождества Христова, год надежд и утрат, и неведомо чего... Он идет, как положено, согласно вращению Земли, с востока на запад, ступает валенками, разбитыми кирзачами по зимним дорогам; и подергиваются сиреневатой сединой алые уголья в топке, вспыхивают и гаснут кожурки от печеной картошки, праздник кончается, и пора спать, и смотреть первый в новом году сон. Мустанга встает, вырастая над Тасей парашютной вышкой, хрустнув лопатками, стягивает с себя верхнюю одежку, остается в холщовой исподней рубашке с длинными рукавами, сладко зевает, перекрестив рот, и вынимает шпильки из косы... Тася открывает визгливые железные двери калилки — и а-ах! — обе блаженно опускаются на колючие матрасики. Скрипит, проседая по-кроватному, железная сетка калилки — все... Сон... Тепло... Новый год!..

Недолгий сон обламывается внезапно: острый Мустангин локоть толкает Тасю в бок. Жаркое, пахнущее пивом, дыхание, шепот:

— Слышь, Анастасия, там кто-то есть! Кто-то в бане шебаршит!

Похоже, это не сон. Теперь уже и Тася различает мокрое шлепанье босых ног и звяканье металла. Шайки! Воруют шайки! Мустанга ракетой взвивается с места, чиркает спичкой — теперь это воистину Воинственный Вождь Краснокожих! Босиком, как была, она вылетает из калилки — и тут же, буквально через мгновение, раздается страшный, нечеловеческий вопль, хлопают двери — и воцаряется тишина. Тася, уже окончательно проснувшись, в ужасе срывается с постели: убили? Неужели убили? Трясушимися руками зажигает лучинку: в бане пусто! Распахивает дверь в предбанник — Господи! Посередине, согнувшись пополам, прижав руки к животу, корчится Мустанга — неужели ножом, в живот? Вождь Краснокожих поднимает залитое слезами лицо — оказывается, она хохочет!

— Ой, не могу! Подумать только — ведь голый побег! Представляешь — голый!

Действительно, у стенки — кучка тряпья, телогрейка. А на дворе — новогодний мороз!



Остаток ночи было уже не до сна. С одной стороны, нельзя было без смеха представить себе разыгравшиеся события. Последний банный день был женский. Видимо, какой-то мужичонка, не успев помыться в положенное время, решил, что бабы уже все помылись, а ежели которая и не успела, в новогоднюю ночь мыться все равно не пойдет — а водичка-то, наверное, осталась. Ну, и пошел. Только размылся — а тут вдруг нечистая сила! Бедняга заорал благим матом — и бежать!

Конечно — только представить себя на его месте! Мустанга, ростом с коломенскую версту, вся в длинном и белом — да еще с распущенными волосами, ночью, в бане, да под Новый год! Тут кто угодно испугается!

А с другой стороны, смех смехом — но ведь мороз же! А до барачков не ближний свет. И голый! Наверняка воспаление легких схватит.

Еле дождалась утра. Утром Мустанга принялась наводить порядок в бане и пересчитывать драгоценные шайки, а Тася собралась было на разведку, да надобность отпала: еще даже толком не рассвело, как в баню забрать брошенную мужем одежку явилась старуха-татарка из четвертого барака, сама напуганная, но отчаянно решительная: одёжа ведь — как ее оставить? Говорила ведь старому дураку: не ходи — так нет, потащился на ночь глядя! И часа, наверное, не прошло — прибежал. «Шайтан, — кричит, — шайтан там!» А сам-то в чем мать родила — только шапка да валенки! Весь барак переполошил. Ладно хоть водка была — водкой растерли, напоили — и в постель. Ничего, вроде обошлось. Жив.

Однако по кормхозу шорох пошел: вроде бы в бане нечистая сила завелась! Как же там Анастасия живет — али с лешаками дружит? Ну, дела!

После Нового года все ленинградки оживились, заволновались в радостном хмелю: мертвящее кольцо на горле Ленинграда слабеет! Но пуще всех, неуждее всех сияет Ольга-маленькая: у Ольги-маленькой любовь! Бесхитростное личико ее цветет, как майская роза, беглым летним дождиком орошают его непредсказуемые, беспричинные слезы и, как солнышко сквозь набежавшие тучки, освещает вдруг счастливая улыбка. Любовь!

Нет, Тася ей не завидует. Как когда-то в детстве, когда она выздоравливала — вернее, воскресала — от страшного кровавого колита, на строгой диете (жидкий бульончик с сухариками), а рядом на сковородке вкусно шипели и пахли румяные котлеты, она не завидовала тем, кто будет их есть, потому что знала, грустная маленькая старушка, что ей этого нельзя и, может быть, никогда не будет можно — так пусть, хрустя поджаристой корочкой, их ест кто-нибудь другой.

Пусть будет у Ольги и любовь, и Жанка — пусть хоть у кого-то это будет, если тебе, с твоей 58, 1 «а», ничего этого нельзя, и наверное, никогда не будет можно.

Евгения Михайловна тоже взволнованно озабочена, все куда-то пишет, хлопчет о вызове, о пропуске, но в Чистополь ездить перестала: в Чистополе «испанка» — страшный грипп, от которого в двадцатые годы вымерли миллионы людей. Теперь, в ожидании вызова, Евгения Михайловна себя особенно бережет — поэтому в райздрав за зарплатой и продуктами ездит Тася. Заодно, бывает, привозит почту и газеты — ведь регулярной доставки вообще тут нет.

Из Чистополя до кормхоза по зимнику четырнадцать километров, и, если предвидится с деньгами и продуктами, тут Сергеич обязательно дает лошадь: в

окуре шалят. Уж кто там — дезертиры или расконвоированные — неизвестно, но береженого бог бережет. Опять же — волки!

Однажды с Тасей уже случился конфуз: задержалась в Чистополе, все кормозовские уехали, пришлось идти пешком. Пошла через Кролики — так короце. Шла налегке, и шагалось споро. Уже за Кроликами вдруг увидела: в стороне, вдоль дороги, вровень с ней трусит большая темная собака, вроде овчарки — только на холке шерсть дыбом, как грива, и держится как-то застенчиво, поодаль, и пышный хвост не трубой, не бубликом — а палкой вниз. Тася удивилась: что это пес так далеко от поселка забрел, и куда идет — непонятно. Остановилась — и пес встал, окликнула, поманила — не тронулся. Снова пошла — и он идет. Тася ему: «Собак, собак, ты чей? Иди сюда, поговорим — вдвоем веселей будет!» Не реагирует.

И вдруг сзади бубенцы — слава Богу, кто-то едет! Может, подвезет? Сани вроде чужие — белогорские, наверное. Ну, хоть полдороги подвезет.

— Садись, девка. Куда идешь — в Белую Гору?

— Нет, в кормхоз.

— Все равно садись, хоть полдороги подкину. Экая отчаянная! Только что в Кроликах волка видели: гривастый такой — вроде таких и не было раньше.

Похолодев, оглянулась на четвероногого попутчика — его и след простыл. Только далеко в белом поле удалялось черное пятно. Ничего себе — побеседовала с собачкой!

Ну, зато на этот раз Тасе не страшно. На этот раз ее из Чистополя везет сам дядя Ваня Колбасов. Не как-нибудь, не в розвальнях, а в директорских санях — и ноги у Таси накрыты овчинной полостью! Мороз, говорят, больше тридцати, но Тасе несколько не холодно. Угрелась, даже лицо горит — только сильно начинает болеть голова: она наливаются болью, как горячей водой. Очень хочется спросить дядю Ваню, нет ли писем от Гриши — но боязно: в последнее время дядя Ваня как-то непривычно неласков. Вот и сейчас, подъехав к конюшне, он бросает вожжи помощнику и, не оглядываясь на Тасю, уходит.

На своем крыльце Тася долго не может попасть ключом в замок, а открыв, вяло удивляется: кто это без нее мог тут так натопить? Но подтопка холодная, и пар валит изо рта, хотя глаза почему-то жжет, как будто смотришь на огонь. Жар у нее, что ли?

Хорошо, что Евгения Михайловна оставила термометр в шкафу, а не заперла в своей светелке. Тася сует под мышку холодную стеклянную палочку: сорок и одна. Эко — наверное, не стряхнула! Сердито стряхивает — и снова ставит, но ртуть упрямо возвращается до той же отметки. Надо что-то делать — а что? Ах да: надо отнести почту в контору и отдать кому-то ключ. Зачем ключ? Кому? Ну ладно, это потом — сначала почту...

И Тася, отмахиваясь от ветра, старательно запирает дверь. Ветер полирует лицо, как ледышка, — это даже приятно. Особенно лоб — этот раскаленный лоб!.. Сегодня в Чистополе говорили, что ожидается температура до сорока... Нет, это у тебя до сорока, а мороз обещали до тридцати пяти. Постой, тридцать пять — это ведь пониженная температура, а лицо почему-то все равно горит... Чепуха какая-то!..

В конторе Тася сперва суется в бухгалтерию: бухгалтеру Вере Ивановне надо отдать письмо. Но Вера Ивановна почему-то кричит: «Уберите ее! Не видите — это испанка!» Значит, письма ей не надо? Тася тяжело отступает назад, в сени,



и толкает дверь в кабинет директора. Там наряд — дымно, накурено, смутно, и Тася бессмысленно оседает на пороге. Кто-то подхватывает ее и сажает на лавку. Сквозь туман Тася видит, как Сергеич вскакивает из-за стола: «Что такое? — и так же, как Вера Ивановна, кричит: — Не видите — это испанка!» Только у него это получается совсем иначе: «Кто-нибудь, отведите ее домой!»

Но кто-то, кажется заправщица Зарипа, нерешительно возражает: «Она же в яслях живет, там не топлено. Она иногда в конторе на столе ночует». Директор рывком оборачивается к Евгении Михайловне: «Это правда? Почему я об этом не знаю?»

Евгения Михайловна, дернув плечиком, невозмутимо отвечает: «А она не жаловалась» — и выпускает клубочек папиросного дыма в общие махорочные облака.

«Но вы-то, вы-то, — взвывается директор, но, оборвав себя, принимает решение: — Ну, ладно, потом разберемся. Надя, Моница, сбегай за Аткишкиной, только быстро — одна нога здесь, другая там!»

Тася все это воспринимает вполуха, ей не до того — она занята спором с собственной головой! Надо, чтобы голова держалась прямо, — а она, тяжелая, никак не хочет: валится то налево, то направо, то вовсе сваливается вперед, и от этого все качается, и голоса доходят сквозь сизый махорочный дым волнами — то громче, то тише...

На крыльце топот. С морозными клубами вваливаются Надя и тетя Маша Аткишкина, Маша-патяй. Сергеич встает ей навстречу:

— Маша-патяй, большая к тебе просьба: возьми девочку к себе. У нее в яслях не топлено, а она, видишь, разболелась. Пусть у тебя полежит, покуда оклемается. Мишка-то у тебя на фронте, место его свободно — а я тебе картошки, капусты да муки подкину, и молока там для нее, Фаине скажу. Доведешь сама — или Надя поможет?

Тася туманно соображает: Фаина — знаю, завмолокофермой. А молоко кому?

Маленькая, крепенькая Маша-патяй подхватывает обмякшую, отяжелевшую Тасю с одной стороны, Надя — с другой:

— Айдайте!..

— Смотри, сама не заразись, — кричит вдогонку Александр Сергеич, — хворь эта приставучая!

Слава Богу, первый барак рядом. Хороший барак, теплый! Комнатка у Маша-патяй чистенькая...

— Ложись давай, — командует хозяйка, — вот сюда! Покудова Мишаня воюет, кроватка его пустая. А ежели что, в стенку стукни. Я у Нади буду. Ложись давай!

И с гордостью откидывает цветастое лоскутное одеяло.

Тася опускается на кровать и сразу же куда-то уплывает. Ей хорошо — вот только если бы голова так не болела! Солнечный ручеек, зеленая листва, шелест, тихий звон...

Остатки сознания спорят: да нет же, сейчас зима! — но упрямый ручеек весело играет, мелькают стрекозы... Тася тонет в теплой, ласковой воде...

— Ну, слава Богу, оклемаюсь!

Над Тасей склоняется доброе, круглое лицо.

— Мы уж и не чаяли, что поднимешься. Докторша приезжала из Чистополя — Александр Сергеич за ней посылал — так она и войти побоялась. С порога посмотрела — и в контору! Ты ж, почитай, неделю в себя не приходила: лопочешь чегой-то, улыбаешься — а слезы-те бегут и бегут! Сроду не видала, чтобы кто так болел. Люди болеют — дак охают, стонут в бреду-то, а она все улыбается! Глаза закрытые, а слезы бегут и бегут — прям' уши полные слез! Сколько ты их выплакала, слез-то — а все с улыбкой. Ну, думаю, может, это болезнь из нее выходит — слезами? Улыбается, думаю, — стал' быть, не помрет.

Тася с сожалением вспоминает ласковый бред, солнечный ручеек и стрекоз — и садится на кровати. Голова звонкая, пустая — и почему-то не болит. На окне морозные узоры — словно папоротник над тем ручьем, только белый, а не зеленый, и Тася улыбается:

— Не помру, Маша-патьяй! Обещаю.

— Бают, шибко мрут от этой испанки. Да ты не вставай, лежи покудова. А ежели за надобностью, так вон ведро. Наш кормхоз покудова Господь миловал: один только помер, и тот не наш — расконвоированный...

У Таси по спине пробегает знобкий холодок: ведь она над своим блаженным ручейком и вовсе забыла, что есть на свете тюрьма, конвой, расконвоированные...

— Сергеич про тебя спрашивал. Термометр вот дал — температуру мерить. Велел тебя горячим молоком поить и чтоб, как температура упадет, еще неделю на волю не выходила.

На волю...

— А заведующая твоя меня чтой-то обходит — надо быть, заразиться боится.

— А вы как же, Маша-патьяй, — не боитесь?

— Дак боись не боись, а куда денешься? Не бросишь ведь. А еще Ольга-маленькая из бухгалтерии все про тебя спрашивают... Так молочка нагреть тебе? Выпьешь?

Кто, когда — нет, ты скажи, Тася: кто, когда для тебя вот так молочко грел? Укрывал одеялом? Разве что папа — давным-давно, в совсем забытом детстве... Остаться бы тут с этой доброй Машей-патьяй, в тепле — да при чем тут печка! — остаться бы и не уходить никуда...

И словно подслушав ее мысли, Маша-патьяй говорит:

— Знаешь, Анастасия, чего я надумала? Оставайся-ка тут покудова. Поживи еще, места не перележишь! Однова' ясли до весны не откроют — кто детей в такой холод понесет? А в контору тебе отсюда еще сподручнее. И мне веселее.

Господи, хорошо-то как!

— Маша-патьяй, а Мишаня часто пишет?

— Какое часто, сама понимаешь — война! Не до писем ему. Так, коротеньки треугольнички: пока жив, пока здоров, чего и вам желаю. Последнее в окурат докторша привезла, спасибо ей, когда к тебе приезжала.

— Теть-Маша, а остальные ребята — Асят, Гриша Казанцев — пишут кому-нибудь?

— Да не слышать вроде. Асятова мать хвалилась, вроде прислал с дороги откуда-то. А про Гришу — нет, не слышать. Да и кому он писать-то станет? Разве что дядя Ване Колбасову. Детдомовский ведь...

Да-да, конечно, не тебе, Тася. Не тебе.

Ну вот наконец и выходит Тася — в первый раз после болезни выходит на свет божий. Крепенький снежок скрипит под ногами — а ноги, слабые, непослушные, еле-еле удерживают в прямоте робкие, ватные колени. Оранжевые чуни из старых скатов чугунами гилями припечатывают эти ноги к снежной тропке, но истосковавшиеся легкие жадно втягивают сладкий морозный воздух. Выжила! Все-таки выжила — такие вот, значит, у нас дела!

Выходила тебя Маша-патяй. А ты, дуреха, что себе твердила: чужая ты здесь, Тася! Сказать, что плохо к тебе относятся, так нет — не плохо. Не плохо и не хорошо — никак к тебе не относятся. Ходят рядом — отдельно от тебя — как рыбы за толстым стеклом аквариума. Или это ты — за толстым стеклом?.. Просто, наверное, не умеешь ты с людьми. Может быть, потому, что ты другая: за спиной у тебя тень СИЗО — и неотступный страх, что эта тень опять тебя накроет?

Вот Евгения Михайловна — полгода одну с тобой баланду хлебала, а сейчас «вращается в высшем обществе», с тобой общается исключительно как начальница — отстраненно и свысока. Только все равно — и ее, наверное, грызут ночами те же мысли, только она виду не показывает.

Но вот ведь Маша-патяй — она ведь тебя как родную выхаживала?

— Уморилась, поди, с непривычки-то? Полежи давай с устатку. Рано тебе еще разгуливать.

— Маша-патяй, послушайте, знаете что — мон ерзя³, ей-Богу! Я и песни мордовские знаю! Хотите, спою?

Авай, рама ботинка́
Пиджя цюлкань марто:
Мон туян сад гаяка́
Мазы́ жених марто!⁴

— Ух ты! Это кто ж тебя научил?

— Ой, тетя-Маша, оно в воздухе носится. Тут воздух такой. Я еще могу — хотите?

Самсон-ляляй, ков яки́ть, ков якить?
Самсон-ляляй, ков якить, ков якить?
Селези́нька, Самсон-ляляй, ков якить?
Селези́нька, Самсон-ляляй, ков якить?

Вот такая веселая, задорная, плясовая — мон ерзя, Маша-патяй!

Яки Нюркань чиямон,
Яки Нюркань чиямон!
Селези́нька, яки Нюркань чиямон!
Селези́нька, яки Нюркань чиямон!⁵

³ Я мордовка (морд.).

⁴ Мама, купи мне ботинки // с зелеными чулками: // Я пойду в сад гулять // с красивым женихом! (морд.)

⁵ Дядя Самсон, куда едешь? Ай-люли, дядя Самсон, куда едешь? // — Еду Нюрку сватать! Ай-люли, еду Нюрку сватать! (морд. нар. песня)



— Гляди-ко, а и вправду тонь ерзя!⁶ Мы тебя еще и замуж тут отдадим!
А ты думала, ты тут чужая... Вот Евгении ты чужая, это точно.

Вечерами — морозно же! — молодежь собирается в «предбаннике» — в сенях конторы и в маленькой дежурке. Там, в окошко, через которое обычно выдают зарплату, из бухгалтерии в конце рабочего дня выставляют черную тарелку репродуктора, и, если повезет, можно услышать очередную сводку новостей — а когда издалика выплескивается серебряный голос Оксаны Петрусенко, у неплакучей Тази перехватывает дыхание:

Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому...

И снова вспоминается Дьячков, его жестокие слова: «Вам что — все равно, в какой земле лежать?»...

Говорят, счетовод Люся-маленькая, по прозвищу Колобок — странно: ведь ленинградка, а такая кругленькая! — подала заявление в военкомат, добровольцем. Вот узнать у нее, как это делается, — и нечего откладывать! Обойдется Евгения Михайловна без дармового сторожа. Только говорить ей пока ничего не надо.

Ну вот: выпросила в бухгалтерии листок ученической тетради (с бумагой нынче туго) — и в правом верхнем углу, согласно Люсиной инструкции, старательным ученическим почерком вывела:

*В Чистопольский райвоенкомат
начальнику первой части майору Звенягину*

А фамилия-то какая хорошая — звонкая такая!

З а я в л е н и е

Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.

Больше, наверное, ничего не надо. Как там еще пишут: «Хочу бить врага...» — ну зачем это? Что надо будет, то и будешь делать. А вообще лучше всего санинструктором — раненых из боя выносить, перевязывать... Спасать всегда лучше, чем убивать. А риск тут все равно одинаковый: даже, может быть, у санинструктора больший — под огнем раненого тащить! — значит, и подвиг не меньше. Пусть тогда кто-нибудь посмеет тебя попрекнуть, напомнить тебе про тюрьму! Ну, а уж если убьют — так лучше умереть в бою, чем на нарах.

А может, еще и Гришу на фронте встретишь — хотя такое, наверное, только в кинофильмах случается...

Так. Теперь отдать Клавдии, секретарше, — она в Чистополь отправит.

Ну вот, шаг сделан — и сразу стало веселее. Теперь ждать, ждать, ждать! Ах, какие дороги у тебя впереди, Тася! Трудные, конечно, дороги — но не этап ведь! Радостные дороги! В госпитале тоже было трудно, но какая это была радость: ты всем нужна! В большом и малом — просто воды подать, прикурить

⁶ Ты мордовка (*морд.*).

кому-то от каганца, слово доброе сказать или просто выслушать... Невеликие дела — а все кому-то легче станет. Так то же в госпитале, в тылу — а на фронте ты, может быть, жизнь кому-то спасешь. Да-да, ты отплатишь за папину смерть — но не чужими смертями, а жизнями, которые сумеешь сохранить. И нечего кукситься, припоминать свои обиды, свои горести — подумай, сколько светлого, может быть, ждет тебя впереди. Мы еще увидим, как сады цветут, как люди смеются, мы еще споем, Тася!

А кончится война, осядет все, что она сорвала с мест и перемешала, все придет в порядок, и можно будет отыскать кого угодно — будут, наверное, такие службы специальные, непременно будут. И тогда, после войны, ты напишешь Дьячкову — да нет, почему «напишешь»? Ты разыщешь Дьячкова, придешь к нему в военной форме — может, даже с орденами — и скажешь: «Вот теперь, Петр Осипович, давайте я почитаю вам свои стихи. Сколько захотите, буду читать — потому что теперь вы знаете, что я писала, как думала, как чувствовала, а не для того, чтобы поверили, что 58, 1 «а» — не обо мне статья. Верность Родине доказывают делом».

И Дьячков будет долго тебя слушать, протирая, как папа, большие роговые очки, шуря близорукие серые глаза, а потом возьмет твои руки в свои большие, жесткие ладони, с твердыми мозолями от костылей — или, может, он уже без костылей будет ходить? — и скажет: «Я всегда верил, я знал, Анастасия Гарднер, что я в вас не ошибся». А еще он скажет: «Я верю, Анастасия, — и тут ты попросишь, чтобы он называл тебя Тасей, и он улыбнется и повторит: — я верю, Тася, что вы будете настоящим поэтом». И ты скажешь ему, что, если это сбудется, свою первую книгу ты посвятишь ему. Хотя нет — наверное, это неправильно: может быть, первую книгу надо посвятить папе?

Или и папе и ему — потому что жизнью ты обязана им обоим...

— Ты чо лыбишься, Анастасия, — ровно пятак нашла? — спрашивает Нюрка.

— Нашла, Нюра, нашла — да не пятак, а полтинник!

Нюрка недоверчиво шуруется: во-первых, последние полтинники, говорят, чеканили, когда их обеих еще на свете не было, — а потом, с чего бы это вдруг Анастасии так рассияться? Это надо обмозговать!

Календаря, конечно, нет — может, их и не печатают сейчас? — но Тася начертила его себе на обороте испорченной ведомости, приколола на дверцу шкафа и каждый прошедший день отмечает теперь крестиком. Интересно, сколько их еще осталось — когда придет ответ из военкомата?

Как это она раньше Люсю не замечала? Да нет, замечала, конечно, но особого внимания не обращала. Так себе — пухленькая, круглолицая, росточком «метр с кепкой», беленькая, но неожиданно кареглазая, эвакуированная откуда-то из-под Ленинграда — ну и что? Они тут все в бухгалтерии ленинградки, одна только Рая, тоже счетовод, здешняя, чистопольская. Странно, конечно, что ленинградка — и вдруг такая кругленькая, но Люся объяснила, что дистрофики, когда выходят из голода, очень быстро толстеют — особенно животами, потому что обмен веществ у них нарушен.

— Ты, говоришь, сама пухлая была? Значит, тоже растолстеешь.

— Навсегда? — ужаснулась Тася.



— Нет, наверное, — утешила Люся. — Обмен восстановится — и войдешь в норму.

Ну, слава Богу! В армии, наверное, это быстро. Хорошо бы с Люсей в одну часть попасть — она веселая и тоже петь любит. Голосочек у нее чистенький — не сильный, правда, — и текучий какой-то: будто не она песню выдыхает, а голосок сам по себе струится — течет, как ручеек, нежно так и ласково. Да, хорошо бы с ней!

А Ольга-большая и Ольга-маленькая больше не живут вместе. Они больше не подруги — они соперницы. В резервном авиаполку — том, что через лес, — новое пополнение. С пополнением нарисовался на горизонте капитан Дима, из Саратова — тайная радость и надежда Ольги-маленькой. В бухгалтерии о нем не поговоришь, не расскажешь — рядом Ольга-большая, а так хочется с кем-нибудь поделиться!

Ольга прибегает к Тасе — ну точь-в-точь румяное яблочко под слепым дождем: то сияние, то слезы — и опять виноватая улыбка. Дима — он такой умный, такой смелый, у него два ордена и куча медалей! Кончится война, он в военно-воздушную академию поступит — в Москве есть такая, имени Жуковского. Ой, Таська, Таська, он такой хороший!

Пряча виноватое, счастливое лицо в пеленки, Ольга зацеловывает Жанку — мордашку, ладошки, пальчики — и убегает, убегает куда-то, навстречу своему счастью.

Ольге-большой Дима тоже нравится, он ей р а н ь ш е понравился, она с ним раньше познакомилась и теперь считает, что маленькая его у нее увела.

Тася Диму понимает: ей Ольга-маленькая тоже больше нравится — эти синие, мохнатые глаза, и простодушные рассыпчатые кудряшки, и смех со слезами пополам, — но что-то смутное, что-то тревожное мешает за нее порадоваться. А Ольга все чаще и чаще, отводя глаза, просительно говорит: «Можно, я Жанку тебе на ночь оставляю? Мы сегодня допоздна работаем...» И Жанка остается Тасе, и Тася прижимает к себе жаркое, крохотное тельце и бормочет самые хорошие, самые ласковые слова, какие только есть на свете, и такие, которых и вовсе нет, Тася их сама придумывает, специально для Жанки и ни для кого другого — и Жанка смеется, и ловит Тасины губы, и делает Тасе «ладушки» — и все отстывает, и больше ничего нет — только эта теплая кроха...

И вот однажды, качнувшись тельцем к Тасе, Жанка отчетливо произносит «мам-ма!». Она лепит это слово своими нежными губёшками, она говорит его Тасе — Тасе, и никому другому, она в первый раз в жизни говорит: «Мам-ма!»

И Тася не выдерживает: жгучие, непростительные слезы бегут по ее лицу, и Жанка серьезно и сосредоточенно развозит их пальчиком по Тасиным щекам.

Нет, Ольге она не скажет: Ольге будет обидно, что не ей первой было сказано это слово. Нет, неправда, не только поэтому: просто это ей, Тасе, оно принадлежит по праву, это слово, это ей награда за все бессонные часы, проведенные над Жанкиной кроваткой, за то, что в стылые вечера согревала ее своим дыханием. Бесценный подарок — но разве она его не заслужила? Пусть хоть это: ведь тебе никогда не скажет «мама» твой собственный ребенок — у тебя его не будет, т е б е н е л ь з я , ч т о б ы о н б ы л, потому что за спиной у тебя чистопольский СИЗО и показания, подписанные Елизаветой Андреевной Жигаловой. Вдруг по какой-нибудь причине твое дело станут пере-

смагивать, а заключение медкомиссии — это же такая маленькая бумажка всего пол-листочка — где-нибудь затеряется? Или кто-то подвергнет его сомнению — подпись не понравится, или еще что-нибудь? Нет, Тася, не будь тебе мамой — так пусть хоть Жанка...

...Господи, — слышите, люди? — есть Бог на свете! Пришел вызов из военкомата, два вызова — Анастасии Гарднер и Людмиле Солодовниковой. Александр Сергеич вызвал обеих, обнял, пожурил, что раньше не сказались, и посетовал, что девочки на фронт просятся, — а он вот в тылу коровами командовать должен! Велел дяде Ване Колбасову дать девчонкам лошадь — не попусту! Чистополь едут! Маша-патяй разволновалась, с вечера лепешек напекла, раньше Таси встала, чайком напоила и в дорогу пару лепешек сунула — день долгий, путь не близкий!

Ладная, кокетливая лошадка поначалу капризничала, ни с того ни с сего вдруг останавливалась и в раздумье мотала головой, будто сомневалась, куда бежать, хотя дорога перед ней струилась одна — чистая, снежная, веселая дорога. «Ах ты, спекулянтка! — нестрашно бранилась Люська, грозно посвистывая кнутом. — Ах ты хитрюга, попрошайка этакая!» Лошадка прядала ушами и сделав несколько шажков, снова останавливалась. Обе прекрасно понимают друг друга — не в первый раз! — обе — и Люська, и лукавая скотинка — знали, что это просто игра. Вот сейчас Люська, ласково поругиваясь, соскочит на снег, забежит наперед и пятясь вытащит из кармана вкусную морковку. Плутовка неспешно потянется за приманкой, осторожно мягкими плюшевыми губами возьмет с теплой Люськиной vareжки вожделенное лакомство, блаженно захрумкает и, услышав напоследок притворно-свирепое «Н-но, пошла!», бойко затрусит по белой дороге.

Тася счастливо запрокидывается назад: «На позицию девушка провожала бойца...»

Шустро рысит лошадка, вкусно хрустит под гнедыми ножками в белых носочках молодой, морозный снежок, девчонок переполняет гордое, радостное чувство, сознание, что сделан крупный, красивый шаг в начале новой дороги и поется, поется, поется, а губы перехватывают сладкие снежинки, и голоса сплетаются чисто и ладно, и все прекрасно, а все плохое уже позади, и утро занимается счастливое, ясное, как праздничный белый плат!..

На краю Чистополя Мироновна, мать секретарши Клавдии, привычно распахивает ворота крытого дворика: все кормхозовские, приезжая в город, останавливаются у нее.

— Распрягать будете, али вскорости назад? — спрашивает она, поглаживая вздрагивающую кожей парную лошадиную шею.

— Распряжем, распряжем, — щебечет Люська, — а как же, Мироновна, обязательно распряжем — мы ведь в военкомат, призываться!

Мироновна ахает и крестит девчонок — похоже, она не разделяет их радости, но привычно подсыпает скотинке сенца и, оборотясь к девчонкам, так и привычно спрашивает:

— Самовар-то вздуть, что ли? Чайку с дороги?
Какой там чай!

В военкомате пахнет чем-то знакомым, но забытым — дегтем, дегтем березовым пахнет! Дегтем щедро намазаны и до блеска начищены сапоги у начальника первой части майора Звенягина.

— Ай-да девчонки, ай-да молодцы, — восклицает майор. — Ну, теперь уж Гитлеру точно капут!

Кисть левой руки у майора скрючена птичьей лапкой, и правая нет-нет да трогает ее, будто хочет подбодрить каличку, и так, словно между делом, перебирает Тасины и Люсины документы.

— Ну что — не передумали? А коли не передумали, бойцы-молодцы, проходите вон туда, по коридору — медкомиссия там.

И, поймав нерешительный Тасин взгляд, добавляет:

— Там и разденетесь.

Тасе тоскливо думается: неужели и здесь как в СИЗО? Но им разрешают остаться в сорочках. Тася мельком замечает, что у Люси сорочка довоенная, с тонкой мережкой, и ей становится мучительно неловко за свою, сшитую из прохудившихся, списанных ясельных простынок.

Осмотр недолог: жалобы есть? Нет? Открой рот, покажи язык. Скажи «а-а»...

Терапевт, хирург, глазник... И тут у Таси холодеет сердце. Указка скачет по таблице: эта? эта? а эта?

И Тася стынувшими губами обреченно произносит:

— А эту я уже не вижу.

— Одевайся.

Маленькая Люся бойко скачет глазами за указкой. Тася с горькой завистью следит за ее ответами:

— Ы, Н, Ю, К... Я и дальше могу!

— Дальше не надо. Довольно. Отличное зрение. Можете одеваться.

Тася смотрит на тускнеющее лицо начальника первой части и с отчаянием слышит, как рушится только что выстроенный ею светлый мир, как рассыпаются звонкие осколки такой красивой, такой, казалось, верной надежды.

— Эко ты, однако, Гарднер, — огорченно говорит майор, утешая правой рукой скрюченную левую, — а я было так на тебя порадовался! Тут что ни девка, то метр с кепкой, а ты ростом сто шестьдесят восемь: вот, думаю, хоть одна — а ты глазами подкачала. Мы ведь нынче зенитчиц набираем — ну куда тебе?

— Так ведь и в очках воюют, — без надежды лепечет Тася.

— Дак не зенитчики ведь!

— Я перевязывать умею, я в госпитале работала... десмургию учила... — бесцветно звучит незнакомый, тусклый Тасин голос.

— Ну говорят же тебе, японский бог, — у нас нынче в зенитную артиллерию набор! Подожди, может, придет разрядка в медсанбаты — подожди, не горюй...

Маленькая Люся в своем ослепительном счастье — «по всем статьям годен» (почему «годен», а не «годна»?) — сочувственно, но чуть свысока, с высоты своих «метр пятьдесят четыре» смотрит на Тасю — и ничем не может помочь...

— Да ты не горюй, — повторяет майор Звенягин, спасибо ему. Но Тася сереет, послушно, вежливо кивает, чтобы не огорчать его еще больше, запахи-вает на шее платок — и ступает за порог.

— А я? — спрашивает Люська.

— Ты в порядке. Жди, вызовем.

Непонятливая Мироновна радостно шебаршит вокруг девчонок:

— Ну вот, ну, и слава Богу. А там, глядишь, и война кончится!

Ах, Господи, как она не понимает? Ведь нельзя, нельзя так — нельзя, чтобы война кончилась без Таси! Чем она тогда смоеет это пятно, как сотрет со лба проклятое клеймо?

Обратно лошаденка трусит ровно, без фокусов — во-первых, домой, во вторых, все равно у Люськи второй морковки нет. И девчонкам уже не поется. Тася сникла, съежилась, как проколотый «уйди-уйди», а Люсе неловко радоваться, раз у Таси такая беда. В кормхоз въезжают тихо — а думали, при въезде грянут: «Одержим победу — к тебе я приеду на горячем боевом коне!»

Куда уж тебе теперь, Тася, «на горячем боевом коне»? Теперь над тобой весь кормхоз смеяться будет. И Гриша тебе на фронтовых дорогах не встретится, тот, из прошлой жизни — тот, в белом полушубке...

— Знаешь что, — говорит Люся, — давай скажем, что меня зачислили в зенитную, а тебе отсрочка до набора в медсанбат. Он же сказал — значит возьмут...

Оно, конечно, вроде бы не вранье — не совсем вранье, если точнее. Да что уж...

— Пошли к нам — картошки наварим, — великодушно приглашает счастливица.

— Нет, я пойду... — говорит Тася, и тут же горло перехватывает: куда? Куда теперь — в пустоту? Ведь не скажешь «домой»...

Евгения Михайловна встречает ее, поджав губы, и поднимает выщипанную бровь — поди угадай, что она хочет этим сказать!

До чего все-таки путаная штука наша жизнь — как клубок меланжевых ниток, где переплетается белое с черным, радость с бедой, свое и чужое! Не успела Тася отойти после пережитого в военкомате, как в жизнь ворвалось новое потрясение. Прибежала Ольга-маленькая, сама не своя: пришло письмо из Сиверской — из Сиверской, от родителей! С одной стороны, радость несказанная, камень с плеч: живы! Все живы! С другой стороны — Жанка. Нравы в семье строгие, и в округе тоже: нагуляла, скажут, в подоле принесла! Такой сраму, скажет отец, в роду не бывало! Как быть, что делать, Господи? Пишу, приезжай, вызов пришлем — а как им признаться? Ведь выгонит отец, не простит — с него станется! И с Димой как? Вот тебе в одночасье и радость, и беда!

Сумасшедшая мысль, отчаянная надежда: «Оля, подумай: может, Жанку мы отдашь? Мне она как родная — родная и будет!» И еще: «Она ведь и так меня мамой зовет!»

Маша-пятай, вернувшись домой, только руками всплеснула: на ее гордость нарядном лоскутном одеяле, ревут, обнявшись, две дурехи, и смотрит на них с интересом, выпроставшись из своего одеяльца, маленькая Жанка.

Неделя прошла в лихорадке — что там та «испанка» по сравнению с этой горячкой! И наконец Ольга решила. Тася не могла поверить своему счастью, хотя Маша-пятай, качая головой, твердила: «Ой, ты подумай, подумай, Анастасия, — на кой тебе в девках чужое дитё? А что как замуж захочешь — что тебе муж скажет? И кто, по нынешним временам, с дитём взамуж возьмет?»

Тася не спорила, но по ночам вприсонках тревожно шарила по постели, нащупывая рядом теплое маленькое тельце, прислушиваясь к нежному посапыванию своего нечаянно обретенного счастья. Но Ольга приходила в бухгалтерию

красными, заплаканными глазами, и Тасю мучила совесть, что ее радость — это Ольгина боль. Машу-патяй уговорили никому пока не говорить — на всякий случай. На всякий — а на какой? Кто его знает... Как-то тревожно все-таки...

День потихонечку подрастал. Евгения Михайловна, чтобы оправдать получаемую — без детей — райздоровскую зарплату, затеяла в яслях какие-то переделки — полочки, крылечко и бог весть что еще. По-прежнему привозили, развешивали и раздавали райздоровский сухой паек, но «баушка» уже потребовала, чтобы печник привел в порядок кухонную печь — то есть ощутимо приближалась весна.

Ольга все реже забегала к Жанке: во-первых, неотвратимо, по ряду признаков, близилась разлука с Димой, и Ольга мучительно гадала — на время или, как с Ваней, навсегда? Во-вторых, надо было постепенно приучать малышку к ее отсутствию, чтобы не тосковала потом.

Жанка уже привычно называла Тасю «мам-ма», уже говорила «дай» — по крайней мере Тасе казалось, что она выговаривает именно это и еще какие-то, только ей да Тасе понятные, слова.

И вдруг грянул гром.

Ольга-большая, считая маленькую злостной разлучницей, решила ей отомстить и написала ее родителям, что дочь их без мужа невесть от кого родила. Письма приходили на контору, так что добыть адрес было парой пустяков. Ждать ответа пришлось долго — время военное, — однако ответ пришел совсем неожиданный. Старики писали, что срочно высылают вызов, что ждут не дождутся внучечку и даже добыли уже для нее коляску, а это, понятное дело, было совсем не просто. Ольга прибежала к Тасе, не помня себя от радости, а Тася, услышав новость, почувствовала, что в ней умерло сердце.

Пока Ольга хлопотала, оформляла пропуск и готовилась к отъезду, ничего не подозревающая Жанка еще щебетала у Таси в теплой комнатке Маши-патяй. Но время неумолимо шло, расставание приближалось, и сердце умирало, умирало, умирало! И настал день — вернее, еще не день, а срок, когда к первому барaku в предрассветной темноте подкатили сани — от кормхоза до Казани зимой только санный путь — и Тася в последний раз вынесла из дому укутанную Жанку. Счастливая Ольга протянула к ней руки, но сонная Жанка с плачем отпрянула и, лепеча «мам-ма, мам-ма», обвила ручонками Тасину шею. Ну как это — кто это выдержит?

Так они и стояли — втроем — в то темное зимнее утро, и плакали, три горькие маленькие женщины, — а возчик терпеливо притопывал в стороне зябнувшими ногами...

Господи, ну почему наша жизнь так устроена, что вся состоит из утрат?..

Вот и еще одно ц я п е л ь ц е угасло. Холодает, Тася, холодает — хоть и близится весна. Скорее бы! Наполнятся ясли детскими голосами — может, легче станет? Где ты там, как ты там, моя маленькая? Сиверская... Ее и на карте нет...

Постой, — а об Ольге ты подумала? Как бы она жила, оставив Жанку тебе? Или так бы и жила — счастливо, не оглядываясь, без боли — как твоя мать?

Растила бы других детей... Нет, нет, не надо так о маме! Вдруг они остались навсегда — там, под насыпью... Позади...

Пустота, пустота — Господи, чем ее заполнить? Хоть бы книги какие-нибудь были, чтобы не думать о том, что болит... Кто это сказал — «природа не терпит пустоты»? Наверное, он сам, на своем опыте, познал, как она нестерпима.

...И вдруг, неожиданно-негаданно, такой удивительный подарок! Светло-серая книжечка в твердом переплете — милый, привычный, но давно забытый задачник Шапошникова и Вальцова, тоненькая ниточка оттуда, из прошлой жизни! Главный бухгалтер Вера Ивановна зачем-то принесла ее в контору — дочка, уезжая в Чистополь, бросила за ненадобностью. Нет, Тася не попросила, не отважилась, но наверное Вера Ивановна сама что-то поняла, потому что, взглянув, после короткой паузы, протянула ей: хочешь? Тася, кажется, даже спасибо ей не сказала — в горле пересохло от волнения!

Вот они, задачки, которые вы решали за месяц до войны, а вот те, над которыми ты корпела самостоятельно, надумав сдавать за девятый класс экстерном. Зачем это тебе было нужно — одной на всю школу? То ли хотелось себя испытать — смогу ли? — то ли чтобы догнать того, перед которым при встрече жарко горели щеки, то ли чтобы что-то доказать папе и себе самой. Теперь уже не поймешь.

Математичка Елизавета Петровна, по кличке Царская Дочь, была, пожалуй, единственной учительницей, которая ни у кого в классе не пользовалась ни любовью, ни уважением. Между ней и ребятами сложилось молчаливое, напряженное противостояние: ученики никогда не станут уважать учителя, который сам не любит свой предмет. Царская Дочь нежности к математике явно не питала.

Вскоре к ним пришел новый классный руководитель, пожилой усталый человек — шутник с постоянно грустными глазами. Обнаружив, что в классе бедственное положение с математикой, он хмыкнул и неожиданно объявил: «Вы все знаете, что после уроков в школе работают кружки по интересам. Так вот: я приглашаю остаться после уроков всех, **кто не любит математику!**» Осталось почти полкласса, в основном из любопытства — уж больно необычно прозвучало это приглашение.

Оставшиеся не пожалели. Они услышали рассказ о гениальном юном математике Эваристе Галуа, в двадцать один год погибшем на дуэли и в ночь перед дуэлью наспех набросавшем теорему, над доказательством которой потом десятки лет бились величайшие ученые мира. Ребята слушали затаив дыхание: в ночь перед смертью — теорему? А потом Всеволод Иванович рассказал им, как когда-то, еще мальчишкой, он научился быстро считать в уме — сам придумал как. «Хотите, для начала научу вас быстро умножать? Ну, сперва на девять. Скажем, простенько: сорок семь на девять? Умножаем на десять — четыреста семьдесят, и минус сорок семь — не задумываясь, четыреста двадцать три! Или тридцать восемь на восемь? Тут уже два варианта: тридцать восемь на десять — триста восемьдесят, минус семьдесят шесть — триста четыре! И другой вариант: сорок на восемь — триста двадцать, и минус шестнадцать — опять же триста четыре! Очень просто».



Класс заболел! Елизавета едва успевала продиктовать условие задачи, как поднимался целый лес рук: ответ готов! Царская Дочь заподозрила, что ребята откуда-то добыли «Решebник» — оказывается, было такое, вроде бы еще дореволюционное, издание Шапошникова и Вальцова, с ответами на все задачи, — и учинила обыск. «Гарднер, встань и стой! Что там у тебя под партой? Дударчик, встань и стой!» Этого ей не простили. Мстительно стремясь уличить ловкачей, Елизавета вызывала самых активных к доске — тут не спишешь! — диктовала задачи, но мятежники зло и быстро, кроша мел, писали ответ, минуя промежуточные «действия», чем вызывали яростное недоумение. Ей бы порадоваться неожиданной активности учеников, так нет — этот неожиданный всплеск вызывал у нее только страх: непонятное пугало! Царская Дочь возненавидела строптивый, задиристый класс, она его боялась. А Тася, оскорбленная недоверием, решила сама пройти к концу года весь учебник Киселева, перерешать все задачи Шапошникова и Вальцова и сдать экстерном экзамены за восьмой и за девятый класс.

И вот он, родненький Шапошников и Вальцов, все его милые иксы и игреки, его уравнения, арифметические и геометрические прогрессии! Жаль только, нет Киселева — но она и сама разберется! А что — ведь существует же в природе экстернат, черт возьми!

И жить стало легче — бывают же чудеса на свете! И в конце концов — может, еще будет призыв в медсанбаты?

Снег посерел, уплотнился, осел и покрылся ноздреватой коркой — весна не за горами! В ясли завезли закамские дубы, тяжелые, узловатые комли: не миновать девчонкам кровавых мозолей — ведь Гриша уже не придет помогать... Евгения Михайловна велела все перепилить и поколоть до открытия: метровые плахи для подтопки, короткие плашки — на кухню... Интересно, а куда идут сами стволы — тоже на дрова? Если да, то за что же именно яслям каждый раз такое мучение?

Только представить себе, какие это были гиганты — дубы в полтора обхвата! Подумать только, сколько лет эти красавцы росли, сколько всего они видели, и как это можно — жечь в топках эту могучую красоту! Говорят, от Мурзихи до самой Казани вдоль дороги такие дубы — неохватные, высокие: только посмотреть — голова кружится!

«До самой Казани...» А сколько отсюда до Казани? Кто-то говорил, сто сорок километров — или ты что-то путаешь? Как же Ольга везла ее по морозу, твою крошку — теперь уже навсегда не твою? А сколько еще от Казани до Ленинграда? От Ленинграда до Сиверской? Или Сиверская не доезжая Ленинграда? Тогда легче — без пересадки... Поймай, «Сиверская» — это, наверное, от «сиверко»? А сиверко — это северный ветер... Тогда, наверное, севернее Ленинграда. Значит, с пересадкой...

А летом от Чистополя до Казани — навигация, вниз по Каме... Железной дороги нет. Помнишь путь из казанской «пересылки» вверх по Каме — нетопливую баржу, на несчастных остановках скрипучие сходни, «жмуриков», накрытых мешковиной?... Помнишь, помнишь — и никуда, никогда не уйдешь от этой памяти, сколько бы тебе ни осталось еще прожить!

Стоп, стоп — довольно об этом! Надо о чем-нибудь другом — ну, например, кого бы попросить пилу развести. Просто мочи нет, как ее зажимает, заедает на этих окаянных комлях! И Нюрка справедливо злится. Интересно, а ты дойдешь

когда-нибудь до того, чтобы вот так матом крыть? Нет, наверное, — и не из моральных соображений, а просто оно для тебя как-то неестественно, что ли. Вот ведь Гриша — шофер, сколько лет тут прожил, а мата от него вроде бы никто не слышал. Впрочем, откуда ты знаешь? И вообще — опять ты о Грише?

Ну, вот: дрова заготовлены, вымыты полы, столы и кровати расставлены, и на пробу растоплены подтопка и кухонная печь. Кухня немножко дымит, но повараху это почему-то не беспокоит: ничего, говорит, подымит, прогреется, прокашляется — и все будет в порядке. Даже кашку какую-то пробную сварила — девчонок накормить и себе душу отогреть. Ничего вроде кашка...

Евгения Михайловна милостиво кивает. Можно принимать детей.

Нет, детворе еще, конечно, холодно. Разве прогреешь в такие холода хлипкую дощатую пристройку? Это ж надо весь день топить — так никаких дров не напасешься! Пока решено: раз в день, в обеденную пору, выдавать на дом харчи за завтрак, обед и ужин. «Баушка» с утра готовит, девчонки у нее на подхвате — воды принести, картошку почистить, за молоком сходить, в обед помочь на раздаче, потом убратся, и так — то да се. Слава Богу, Хораса еще не носят — ночевать еще можно у Маши-патяй, в тепле. А Жанку уже не принесут. Никогда...

Проводили Люсю, маленькую, радостно-тревожную. Тихо проводили, без шумного прощания. В последнюю минуту подоспел Сергеич — ткнул какую-то торбу, обнял, помолчал — какие уж тут слова!.. Как там, на бабушкином крестике, было: «спаси и сохрани»? Господи, спаси и сохрани ее, если ты есть. Должен быть — ведь если она, такая маленькая — «метр с кепкой!» — идет, чтобы заслонить собой большую страну, — должен же быть кто-то — или кто-то? — чтобы сохранить ее и уберечь? Спаси и сохрани!..

Это ведь еще не утрага; может, ты ее догонишь — вот придет разнарядка в медсанбаты... Дорога-то ведь одна — на фронт! Хотя, конечно, — «в белый свет, как в копеечку»...

Тает снег...

Приносят первую детвору. Первым прибывает Васька Каширский — чуть вытянувшийся, побледневший и похудевший за зиму. Хораса почему-то не несут — не заболел ли? Дуся Новичкова, красная от натуги, тащит разжиревшего, бессмысленного ангелочка; за ней, по-прежнему красивенькая, по-прежнему готовая вредничать по любому поводу, решительно топает Тамарка, и по-прежнему умильно встречает их Нюрка. Нет почему-то в первый день Миша Трейфуса, и у Таси екает сердце: не из-за отца ли? Зато есть новенький, Рома Карась — неизвестно чей и откуда.

Постепенно — голосами и суетой — заполняются ясли, заполняется жизнь.

И на обнажившихся, обтаявших бугорках пробивается первая травка.

Ну почему у них тут нет садов? Ну пусть поля, огороды, пастбища, — хоть бы около жилья, пусть не сад — хоть бы палисадничек! Ведь на Украине какая бы ни была развалюха — покосившаяся, в землю вросшая — а все равни



кудрявятся около нее вишни и цветут перед ней высокие мальвы и веселые «чорнобривці». Неужели людям тут не тоскливо так пусто жить? Хотя Чистополь как будто зеленый... Опять же там Кама, река, — а тут хоть бы ручеек какой-нибудь! Только синий лес на горизонте...

— Слышь, Анастасия, забирай детей гулять — я убираться буду, — командует Нюрка.

Гулять — это милое дело! Тут все довольны! Детвора тянется за Тасей, как выводок за утицей.

Мысленно пересчитывая своих питомцев, она выводит их в поле. Черненькие, беленькие, маленькие и побольше — каждый хочет, чтобы «за ручку»! Рафик, как всегда, отталкивая других, протискивается поближе, но Тася, чтобы никого не обидеть, решительно говорит: «Нет! Никого за ручку! Сейчас будем идти с песней, как солдаты, — солдаты за ручку не держатся!» Правда, возникают сложности с песней — какую выбрать, чтобы все знали, но зато главная проблема — кто любимей, кого возьмут за ручку — отодвинута, и слава Богу.

Нюрке — той, конечно, немножко досадно, что дети все так дружно, как подсолнушки к солнцу, тянутся к этой неумехе. Ну чему, спрашивается, она их научит? Сама ничего не умеет — а вот поди ж ты! Вон и Гришка тоже — прямо присох! И с чего, спрашивается? Ей-то, Нюре, ништо, ни холодно, ни жарко — ей вообще Генка Чапыжников не в пример больше глянется, но просто непонятно, что Гришка в этой Анастасии нашел. Лихо, однако, его Верка обвела! Интересно, что там дальше будет. Поглядим, Нюра, поглядим! А с другой стороны, хорошо, что Анастасия их всех увела: никто не натопчет, не наследит — до самого обеда чисто будет.

Так куда пойдём?

Разнообразия для прогулок здесь, увы, нет. Поле, дорога, за полем синееет лес. До леса далеко — и слава Богу. Был бы поближе — ох, и намаялись бы с детворой! Тут вон на голом месте Миша Трейфус умудрялся так потеряться, что его целый день искали. Да этот еще, новенький, Рома Карась — с этим тоже хлопот не оберешься! Вчера пошли в сторону тракторного парка, так он ухитрился какую-то гайку свинтить. Попало, конечно, Тасе — по первое число! Велели больше туда не соваться.

Можно бы в степь — степь сейчас зацветает — так это далеко, дети устанут. Разве что в сторону огородной бригады — здесь есть пригорки, ярочки уютные... Пошли сюда?

— Пошлите.

По дороге Тася показывает детворе всякие весенние цветики и разные травы, все, что знает и помнит сама. Удивительно, как они все впитывают, эти глазастики!

— Тетя Тася, а это полынь, да?

— А у меня тоже полынь!

— А это что? — и Зина Батраева протягивает какой-то крохотный цветочек, такой же хрупкий и робкий, как она сама.

— Не знаю, — честно признается Тася. — Я спрошу у кого-нибудь и обязательно тебе скажу.

Воздух степной, вольный, ветренный, и весна, как эта детвора — неумная, глазастая. Беспокойное время весна — торопящее, тревожное, *ожидающее время!* Ожидающее — а чего? Хотелось бы — радости!

Вот славный ярочек — тут не дует, тут и посидеть можно. Малыши мостятся поближе, поудобнее.

— Тетя Тася, а сказку — сказку будешь рассказывать?

— Сказку, сказку-у, — поет Рафик.

— Ну, ладно, какую хотите?

— Взаправдашнюю, — выкрикивает кто-то.

Волшебным сказкам они уже не верят, эти ребята. Им подавай сказку про вот такую, сегодняшнюю их жизнь — они ведь и не знают, что жизнь бывает другая. Но все равно им надо, чтобы все кончилось хорошо...

Ну, ладно. И начинается сказка:

— Жила-была девочка в большом-большом городе...

— Больше Чистополя? — деловито спрашивает Тамарка Новичкова.

— Больше. Гораздо больше, в десять раз. И были у нее папа и мама...

— Красивая мама? Как моя?

Это опять Тамарка — но Тася ее разочаровывает:

— Конечно, красивая. Очень красивая. Некрасивых мам не бывает.

Тамарка, привыкшая к Нюркиным шумным восторгам, хочет возразить, но Тася дружелюбно предлагает:

— Хочешь, проверим? А ну-ка, поднимите руки, у кого мама красивая!

Поднимается целая рощица рук. Малыши изо всех сил тянут ручонки, некоторые даже подпрыгивают от усердия, а Рафик и Васька Каширский тянут сразу две.

— Ну, вот видишь — все мамы красивые.

Разочарованная Тамарка досадливо супит брови, но Тася спешит закрепить победу:

— Ну, хочешь, еще раз проверим? Ну-ка, а теперь давайте: у кого мама некрасивая? Вот видишь — некрасивых нет. Все мамы красивые, только по-разному — каждая по-своему.

Сраженная неопровержимым доводом, Тамарка не находит, что возразить, и в сомнении отходит, недовольно оттопырив нижнюю губу. Зато остальные — ах как они довольны ее поражением, эти башибузуки! Как счастливы обрести иллюзию всеобщего равенства!

— Ну, так вот: жила-была одна девочка, и были у нее папа, мама и бабушка. Каждое утро, рано-рано, папа и мама шли на работу, и девочка оставалась с бабушкой. Бабушка варила обед...

— Суп варила? — осведомляется Рафик.

— Конечно, Рафик, суп — а еще иногда борщ.

— И котлеты жарила? — мечтательно вопрошает Вовка, «баушкин внучок».

— И котлеты.

— Каждый день котлеты? — с восторгом и благоговейным ужасом восклицает Зина Батраева.

Воспитанная на принципах соцреализма, Тася честно говорит:



— Да нет, наверное, не каждый... И вдруг однажды, в воскресенье, случилась беда: началась война, и девочкин папа пошел воевать.

— Он сапоги надел, да?

Какая конкретная деталь в детской памяти!

— И ремень... — задумчиво дорисовывает Тамарка...

Милые мои!

— А я знаю, — авторитетно заявляет Васька Каширский, — это фашисты сделали войну.

— Да, Васенька, фашисты.

— Мой папа их всех постреляет!

— А они новые народятся, — заедается Тамарка.

— Тетя Тася, а откуда фашисты рожаются? — в тревоге спрашивает кто-то.

— Фашистами, ребята, не рождаются. Фашистами становятся. Никто не рождается плохим.

— А немцы? — спрашивает Миша Трейфус.

— И немцы тоже, Миша.

— А евреи?

Тася не успевает ответить. Громыхая забористым матом вперемешку с мало понятными польскими ругательствами, в их уютный ярочек скатывается бригадир огородниц Бедрицкий, волоча за шиворот ревущего Ромку.

— Ач, найшла тут схованку, сакраментська потвора, а твои байстрюки там теплицы рушат! Рамы побили, на семнадцать тысяч рассады потравили! Та я с тебя, пся крев, за эту рассаду шкуру сдеру, в тюрьме сгною!..

Тася обмирает. Оцепеневшие губы немо шевелятся: вот оно! Всё! Всё конечно! Он сказал, в тюрьме...

Она уже не слышит, что еще выкрикивает Бедрицкий. Она не оправдывается — какой смысл? Все равно все кончено. Семнадцать тысяч — да она их за всю жизнь не выплатит! Такой кучи денег она не то что в руках не держала — не видела никогда. Тюрьма? Нет, нет, в тюрьму Анастасия Гарднер больше не вернется.

Ей вдруг становится не то что легко, а как-то пусто и почти спокойно. Она что-то говорит — или не говорит? — Бедрицкому, ровным, спокойным голосом созывает детей, автоматически пересчитывает их, автоматически говорит им какие-то нужные слова, ведет обратно в ясли, умывает и сажает за стол младшую группу, умывает старших и спокойно говорит им:

— Вы пока идите к Евгении Михайловне, она вам почитает стишок, пока младшие управятся.

Вот так. Все правильно. Нельзя, чтобы дети видели. Все правильно, Тася. Жанка, Гриша — они уже не твои, они уже в другой жизни... Ах да, Дьячков... Простите, Петр Осипович!

Окинула взглядом увалы, кузницу, ясли, баню — зачем? Ведь помнить уже ничего не придется. Уже ничего не надо. Уже ничего не будет — ни хорошего, ни плохого. Всё. Всё кончено — и Тася ровным, решительным шагом спускается вниз, к колодцу. Сдвигает со сруба тяжелую крышку, перекидывает ногу через край. Последнее в сознании — чей-то крик, чей-то белый платок на



банном крыльце — ах да, сегодня в бане стирают! — и обжигающий холод воды... Скользкий, замшелый сруб, зеленая темнота...

Потом возникает боль. Кожа головы — левая сторона, затылок — почему жжет кожу головы? Жжет в носу, и вдруг — отчаянная рвота. Рвет, неукротимо рвет водой... Кто-то грубо поднимает ее, ставит на непослушные, подламывающиеся ноги — и подгоняя пинками, куда-то тащат, зачем-то волокут ее прочь от колодца...

Резкий женский голос — Дарья Пятова? — бьет по ушам:

— Я в окурат из бани вышла, с ведрами, с коромыслом, гляжу — она к колодцу. Чтой-то, думаю, она к колодцу без ведра? Гляжу: крышку открывают — и лезет! Я в голос — и бегом сюда. Тетя Маша за мной. Давай коромыслом ширять — вода-то еще высоко стоит. Зацепила ее за косы — они у нее, вишь, одной поворозочкой связаны, — а не подняты! Добро, кузнецы подоспели — им от кузницы видать, а то бы мы вдвоем не сдюжили...

Так вот почему больно — за косы тащили...

Господи Боже мой, Господи Боже мой, зачем — ну зачем они меня вытащили! Не надо мне этой жизни, не надо! Обратю в тюрьму...

— Ты что ж это, лярва, — людям воду паскудить?

Господи, а об этом ты не подумала! Виновата, виновата — зачем ты еще живешь? И дети еще тут — они видели... Нет, тут ты не виновата — ты же их умыла, младших обедать посадила, старших к Евгении Михайловне...

— Ты что же это, детка, над собой удумала, — причитает Маша-патяй, — грех-то какой!..

Грех...

Тасю втаскивают в ясли — на вымытом полу остаются мокрые следы — и — мокрую — вталкивают в святая святых — светелку Евгении Михайловны. Тело колотит крупная дрожь, зубы стучат, но холода она не ощущает. Дверь светелки приоткрывается, и в щелке возникает сочувственная мордашка Васьки Каширского:

— Тетя Тася, ты упала?

— Упала, Васенька. Видишь, я недаром говорила, что нельзя к колодцу близко подходить: там сейчас скользко, кто-то воду пролил мыльную.

— А за что, почему тебя дядя бил?

— Чтобы в следующий раз осторожней была. Из колодца ведь люди воду пьют — а я с грязными ногами...

— Больно бил, тетя Тася? Ты плачешь?

Суровая Нюркина десница хватает Ваську за шиворот, круглая головенка исчезает, и Тася остается наедине со своими мыслями. Вот такое у тебя цыганское счастье, такое везение, Тася! Все не как у людей: даже уйти из этой жизни пристойно — и то не сумела!

Она машинально отжимает и переплетает мокрые косы — на ладонях остаются пряди волос: вырвали, когда тащили! Если бы не поворозочка эта, мелочь такая, — если бы ты не связала их вместе, все было бы хорошо. Все было бы кончено: нечего было бы терять, нечего бояться... Все было бы хорошо, говоришь, — а ведь колодец на весь кормхоз один? Как бы люди потом из него эту



воду пили? Ах, не так, не так надо было! Кабы зимой, так просто: замерзнуть бы в степи, вроде заблудилась, — и никому от этого ничего плохого! Но до зимы далеко, и за семнадцать тысяч Бедрицкий еще до зимы тебя в тюрьму посадит, и тут уже никакая медкомиссия тебе не поможет. А второй раз в тюрьме — это уже называется рецидивист...

Снова тихонько открывается дверь — «баушка».

— Ты что же сидишь, мокрая-то? Накось, разотришь хорошенько, переоденься да поешь горяченького!

Тася смотрит на нее непонимающими глазами. Оказывается, есть еще мир, где надо переодеваться, чтобы не простудиться, мир, где зачем-то едят? Вот еще — нелепость какая!

— Спасибо, баушка, — привычно шелестят онемевшие губы. Они еще помнят, что надо говорить «спасибо»!

Ледяными руками Тася послушно принимает горячую миску, еще не зная, что с нею делать, — и вдруг неудержимо, как давеча рвота, из горла вырываются рыдания.

— Ну, будет, будет, — бормочет Баба-яга, — гляди, разольешь еще! Дай-ка я поставлю, и будет, будет! А то поплачь — может, полегчает.

И веснушчатými старческими руками гладит мокрую Тасину голову.

Она ни о чем не спрашивает, она терпеливо молчит — и от этого Тасю прорывает. Бессвязно, отчаянно она выплескивает весь свой ужас.

— Там дети теплицу разбили... Семнадцать тысяч убытка! Бедрицкий сказал, в тюрьму меня... Опять в тюрьму, баушка!..

— Эко, таракан рыжий, девчонку напугал! Да разве Сергеич позволит? Мало ли что случается — а ты в колодец, дурья башка! Ну, ладно, поплачь, поплачь, дурочка. Слава Богу, обошлось! Слава Богу, кузнецы подоспели. Разве ж можно так — на себя руки наложить? Это ж грех какой! Ты покуда поешь, посушишь; я тебя на ключ закрою, чтоб дети не совались. Евгения Михайловна велела — а ты, если что — через заднюю дверь, ключ в замке будет. Пойду ужин готовить.

Тася тихонько ставит миску на стол, сдирает прилипшую к коже одежду, растирает озябшее тело.

Что же это такое, Господи? Даже уйти из этой жизни достойно не сумела. Недаром когда-то тетя Тоня называла тебя «мальчик наоборот» — «наоборот, хвостом вперед!»... Что же теперь? Что теперь будет? Как возместить кормхозу нанесенный ущерб? А что если подумают, если скажут, что это ты нарочно — не нечаянно, а нарочно? Вредительство? Ведь за спиной у тебя пятьдесят восемь, один «а» — «измена родине»? Семнадцать тысяч — даже представить себе невозможно такую кучу денег! Хотя нет — есть, наверное, крупные бумажки: просто ты их в руках никогда не держала...

— Тетя Тася, — это Васька из-за двери, — тетя Тася, ты болеешь?

Ах ты, Боже мой, этот мальчик по себе знает, что такое болеть!

— Да, Васенька, болею.

— Я тихо буду!

Дорогой ты мой, спасибо тебе!

Ох, как тесно, тесно как тут, с этими думами! В степь, на ветер — может, легче бы стало? На волю — пока еще можно...

Вечером, после ужина, в замке поворачивается ключ, и входит Нюрка, суровая и необычная. Совершенно ясно, что она впервые в жизни не знает, как себя вести и какой тон выбрать для общения.

— Велели, чтоб ты в контору пришла.

— Велели? Кто велел?

— Александр Сергеевич. Дежурная прибежала.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

Значит, Бедрицкий уже подал рапорт... И никого рядом — ни посоветоваться, ни просто прислониться. А Дьячков думал, Евгения вместо матери тебе будет. Ошиблись вы, Петр Осипович! Даже не заглянула...

Показалось — или в самом деле с крыльца конторы сбежал Бедрицкий? Сердце екнуло, и почему-то затошнило.

Поднялась, толкнула тяжелую утепленную дверь. Опершись обеими руками на стол, Сергеич поднялся навстречу.

— Что же ты, девочка, удумала? Разве можно так! Спасибо, Маша-патяй да тетка Дарья из бани вышли — а выйди они на пять минут позже, никто бы и не узнал, что ты учудила. Никому бы и в голову не пришло! Народ у нас крепкий — тертый, кондовый; с нами такого не случается. Так и не нашли бы, пока сама бы не всплыла. Ну, сама подумай — разве можно так? Жизнь — она ведь один раз дается.

— Так Бедрицкий ведь сказал, он меня в тюрьме сгноит. Семнадцать тысяч убытка! Александр Сергеевич, вы ведь знаете, откуда я к вам пришла...

— Ну, подумаешь, эка невидаль! У нас тут каждый третий либо ссыльный, либо расконвоированный, либо такой, как ты — из-под следствия. Ну так что же? Недаром есть на Руси пословица: от сумы да от тюрьмы не зарекайся! Такие уж у нас тут края. Живут, работают, детей растят. Вон, гляди, Евгения Михайловна — оттуда же пришла, а живет и жизни радуется, домой собирается, к дочке... А что Бедрицкий орал, так он мужик злой — и не то еще выдаст сгоряча. Ты-то хоть сама видела, что твои паршивцы натворили?

— Так он же сказал — семнадцать тысяч...

— Да у нас семнадцать тысяч на всю рассаду, понимаешь? — на всю огородину пошло! Чтоб ее вытоптать, табун лошадей надо, а не пару пацанов. Ну, толкнул один другого, тот ему сдачи дал, ну, разбили раму... Вычли бы у тебя из зарплаты, а то и так списали бы — мало ли что бывает! Бедрицкий — он сам высланный, на весь мир зол, как черт, но дело свое любит и за свою капусту кому угодно, хоть и мне, глотку перегрызет. Ты бы видела, что с ним было, когда он услышал, что ты учудила! Я думал, его кондрашка хватит. Шутка ли — такой грех на душу!.. Нет, моя хорошая, нельзя так к жизни относиться. У меня тут под рукой фотография случилась: это Валентина, дочь моя, нашелкала — помнишь, она из Казани приезжала? — я ей тогда свою «Смену» подарил. Здесь как раз и я, и твой лиходей: на вот, возьми на память. Я там тебе надписал.

Прямоугольничек матовой бумаги: угол конторы, группка усталых людей — а на обороте размашисто: «В жизни необдуманно поступать нельзя. Жизнь прекрасна, и за иотту жизни есть смысл отдать вечность смерти». И твердая директорская подпись: А. Энгельгардт.

Ах, Александр Сергеич, Александр Сергеевич! Такой взрослый, такой сильный и умный, а не знаете, что «йота» пишется через одно «т» и начинается с буквы, которую дикторы РАТАУ называют «иван краткий». Вы не знаете, сколько весит статья 58, 1 «а» (измена родине), не слышали, как кричит вчерашний солдат: «Расстреляйте меня, я больше не могу так жить!», не представляете, какое унижение для человека переполненная параша! А глупая девочка Тася, которая сидит перед вами, все это знает, через все это прошла. А что такое «дополнительные обстоятельства»? Нет, недаром Зинаида Борисовна, угловидшая на нары за то, что преподавала детям в своем Бурлуке Закон Божий, говорила: «В многая мудрости многая печали!» Не дай вам Бог самому в этом убедиться — в многая мудрости многая печали, Александр Сергеевич!..

На крыльце топают чьи-то веселые ноги, слышится свежий молодой голос — дверь распахивается и, сияя румяными ямочками, влетает Клавдия: почту из Чистополя привезла!

— Тут телеграмма какая-то странная, Александр Сергеевич, — тебе, Анастасия!
— Мне?

Такого еще не бывало!

На правах старшего по возрасту и положению Сергеич первым пробегает взглядом серую, шершавую полоску бумаги и протягивает ее Тасе.

Кто сказал, что чудес не бывает, что не может быть, чтобы разверзлись небеса? На листке прыгают сумасшедшие буквы:

**МАМА ХАРЬКОВЕ КНОШИНА Я 48 ЭВАКОГОСПИТАЛЬ 3352
ГУРЕСЕИН ТАК ГУРЕСЕИН**

Кто сказал, что чудес не бывает?

Что такое КНОШИНА Я 48? И почему эвакогоспиталь — лечится она там или работает? И что означает таинственное ГУРЕСЕИН ТАК ГУРЕСЕИН? Неважно, неважно, все это неважно — важно одно: МАМА ХАРЬКОВЕ! У тебя есть мама!

— Вот видишь, — укоризненно произносит А. Энгельгардт, — а ведь она могла тебя и не застать, эта телеграмма.

Ничего не понимающая Клавдия оторопело хлопает недоуменными пионерскими глазами.

Пауза. Долгая, немислимая пауза...



рагуга

Журнал художественной
литературы
и общественной мысли

Выходит с 1927 г.

5-6'2009

ПРОЗА

Вячеслав ВЕРХОВСКИЙ.

Место неожиданного рая 3

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ.

Украинский эшелон.

Книга II 20

Марина и Сергей ДЯЧЕНКО.

История доступа.

Повесть 85

ПОЭЗИЯ

Сергей ЗАРВОВСКИЙ 14

Павел БЕССОНОВ 81

Вадим БОГУСЛАВСКИЙ 129

ВОСПОМИНАНИЯ. ДНЕВНИКИ

Екатерина КОРОТКОВА.

Январские каникулы 135

ЛЮДИ И КНИГИ

Михаил НАЗАРЕНКО.

Фантастика-2008: другая сторона 150

К	и	е	в
2	0	0	9

